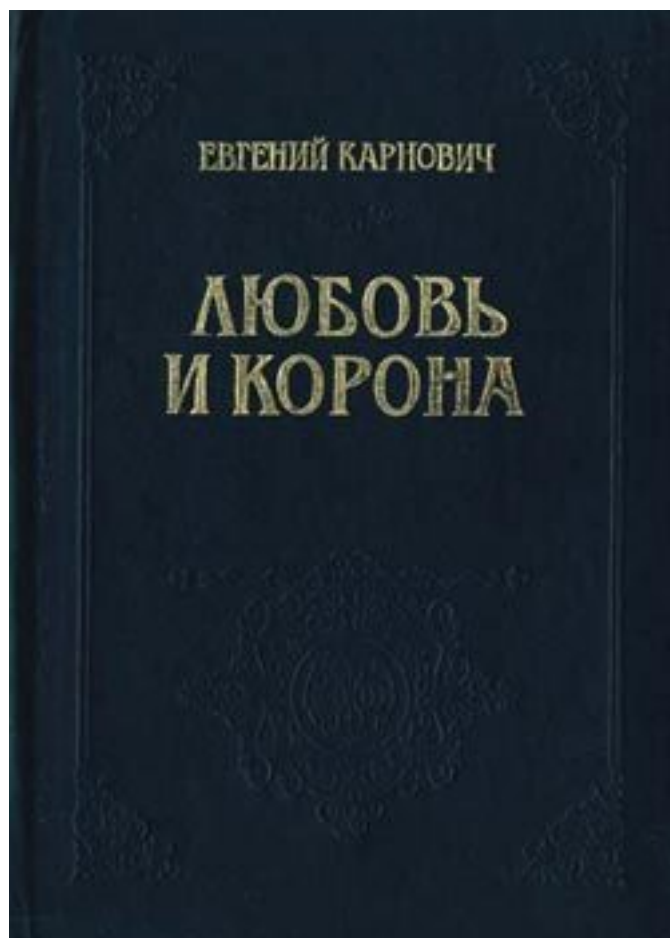


ЕВГЕНИЙ КАРНОВИЧ

ЛЮБОВЬ
И КОРОНА



Евгений Карнович
Любовь и корона

«Public Domain»

1879

Карнович Е. П.

Любовь и корона / Е. П. Карнович — «Public Domain», 1879

Роман весьма известного до революции прозаика, историка, публициста Евгения Петровича Карновича (1824 – 1885) рассказывает о дворцовых переворотах 1740 – 1741 годов в России. Главное внимание уделяет автор личности «правительницы» Анны Леопольдовны, оказавшейся на российском троне после смерти Анны Иоановны. Роман печатается по изданию 1879 года.

© Карнович Е. П., 1879

© Public Domain, 1879

Содержание

I	5
II	10
III	13
IV	16
V	20
VI	25
VII	29
VIII	33
IX	37
X	41
XI	45
XII	49
Конец ознакомительного фрагмента.	50

Евгений Петрович Карнович
Любовь и корона
Исторический роман из времен
императрицы Анны Иоановны и
регентства принцессы Анны Леопольдовны.

I

Слишком сто сорок лет тому назад, по дороге между Стрельною и Петергофом, в местности в ту пору еще глухой и безлюдной, стоял небольшой деревянный дом. Он был расположен на возвышении, от которого шел пологий спуск, поросший густой травой и примыкавший к красивому, обширному лугу, омываемому взморьем. С виду дом этот не отличался ничем особенным от обыкновенных городских и деревенских помещичьих построек того времени. Около него не было видно ни следов искусства, ни затейливой отделки окружавшей его дикой местности, так как владельцам дома, по суровости северного климата, казались странными и даже смешными какие-либо затраты на внешние, только летние украшения их местопребывания. Зато внутреннее расположение, отделка и убранство этого дома говорили о том, что в нем жили люди, привыкшие к большим удобствам домашнего быта, нежели те, с какими были знакомы тогдашние русские, хотя бы и владевшие значительным состоянием. И в самом деле, в этот удобно устроенный, небольшой дом переселялись, для житья на короткое петербургское лето, супруги-иностранцы, постоянно проживавшие в Петербурге. Пользоваться летом чистым загородным воздухом им, впрочем, особенной надобности не представлялось, так как и сама столица была еще в ту пору, собственно, большой деревней, и в ней легко было найти такие околотки, в которых можно было наслаждаться и сельским простором, и ничем не стесняемым привольем. Не этого, впрочем, желали обитатели загородного дома, нами описанного: они искали полного уединения, надеясь совершенно избавиться от стеснений, неизбежно сопровождающих пребывание в обществе и в особенности при дворе. Более же всего им хотелось отделаться хоть на некоторое время от непрерывного докучливого посещения разных непрощенных и неожиданных гостей, так как в ту пору, к которой относится наш рассказ, радушный прием знакомых каждый день считался одним из главных условий общественной жизни в Петербурге.

Загородный дом, о котором идет речь, был уютен и вместителен; в нижнем его этаже были небольшая зала, две приемные, спальни — одна для хозяев и четыре на случай приезда гостей из города. Кабинет домовладельца помещался в мезонине; столы в кабинете были завалены бумагами, письмами, счетами и конторскими книгами, а передняя была заставлена шкафами и ящиками, наполненными книгами и ландкартами. Все это свидетельствовало о деловых и разнообразных занятиях хозяина дома. Хотя убранство дома и не отличалось вовсе роскошью, но зато порядок и чистоту можно было назвать образцовыми, и эти признаки домашнего благоустройства составляли резкую противоположность тому, что встречалось обыкновенно в домах тогдашних даже самых богатых и знатных петербургских бар.

В расстоянии верст семи от этого дома был Петергоф, где в те годы двор проводил большую часть лета. В Петергофе и тогда был уже большой сад с великолепными фонтанами и водометами; но дворец представлял невзрачное здание с низкими и маленькими комнатами, в которых, впрочем, было много хороших, но испортившихся картин, вследствие небрежного за

ними присмотра. Кроме дворца, в Петергофе были уже построены два хорошеньких домика, называвшиеся Марли и Монплеизир; этот последний был отделан еще Петром Великим в голландском вкусе; а на берегу канала, проведенного от дворца к взморью, стояло несколько домиков, занимаемых на лето лицами, бывшими близкими ко двору.

Неотдаленность двора не особенно, впрочем, беспокоила наших дачников, желавших уединиться от большого света. Государыня проводила время в Петергофе на деревенский образец, и потому ежедневных собраний у нее в эту пору не было, а давались только, да и то изредка, празднества по какому-нибудь особенному торжественному случаю.

Стоял жаркий июньский день, и хозяйка загородного дома, женщина лет тридцати пяти, не красавица собою, но с приятным и умным лицом британского типа, видимо, поджидала к себе кого-то в гости. По временам она выглядывала в растворенное окно по направлению дороги к Петергофу и, увидев ехавший оттуда большой экипаж, вышла на крыльцо, чтобы встретить подъезжавших гостей. Спустя немного времени, к крыльцу подъехала тяжелая громадная с зеркальными стеклами карета, окрашенная желтовато-золотистой краской. На ярком фоне этой краски были рукой искусного живописца изображены зелень, цветы, виноградные листья и гроздья, арабески и купидоны, а на дверцах кареты виднелись большие черные двуглавые орлы. Вдобавок к этим геральдическим украшениям и зеленые с золотым галуном ливреи двух рослых гайдуков, стоявших на запятках, указывали, что приехавшая с такой обстановкой из Петергофа гостья занимала не последнее место в придворном штате императрицы Анны Иоановны.

Проворно соскочившие с запяток гайдуки высадили из кареты довольно уже пожилую даму, отличавшуюся величавой осанкой и сохранившую еще следы прежней, по всей вероятности, замечательной красоты. Несмотря на летний зной и на загородную поездку, приехавшая гостья, придерживаясь правил тогдашнего придворного этикета, была одета по-городскому. На ней было тяжелое шелковое платье, обложенное по корсажу и по подолу широким золотым позументом; волосы ее, обращенные в высокую модную прическу, были напудрены. В руке, обтянутой лайковой перчаткой с длинной шелковой бахромой, она держала огромный веер.

Хозяйка дома приняла знатную гостью не с холодным официальным почетом, но с тем радушным дружеским уважением, каким обыкновенно пользуются люди, внушающие к себе расположение своими собственными личными качествами.

После обычных приветствий и расспросов гостьи о муже хозяйки дома, – который, как оказалось, уехал еще со вчерашнего вечера в город по своим делам и еще не возвращался оттуда, – между хозяйкой и гостьей начался, частью на английском, частью на французском языке, обычный и в ту пору разговор о погоде и знакомых. Разговор обо всем этом стал, по-видимому, истощаться, когда хозяйка обратилась к своей гостье с вопросом:

- А что же подделывает ваша принцесса? – сказала хозяйка.
- Моя принцесса? – переспросила гостья, боязливо осматриваясь кругом.
- Да, – не без некоторой настойчивости подтвердила хозяйка.
- Она... – замялась приезжая дама.

– Извините меня за этот вопрос, но я обращаюсь к вам с ним не из одного пустого любопытства. Я понимаю очень хорошо, что вы затрудняетесь в обществе рассказывать о том, что делается у вас при дворе... Здесь страна сильно развитого шпионства, и осторожность ваша вполне благоразумна, – сказала хозяйка, вставая с кресла и заглядывая в смежную комнату, как будто опасаясь, нет ли там какого-нибудь свидетеля их разговора, хотя, как казалось, уже тот язык, на котором они вели его, достаточно мог обеспечивать собеседниц от подслушивания их речей агентом тайной канцелярии.

– По моей привязанности и дружбе к вам, – продолжала хозяйка, садясь на прежнее место, – я хотела даже нарочно приехать к вам в Петергоф, но боялась возбудить подозрение и

подать повод к пустым толкам. Я хотела видетсья с вами, чтобы передать вам об одном дошедшем до меня слухе, выдуманном, конечно, злыми языками...

– О каком? – встрепенувшись, спросила гостья.

– Говорят, граф Линар...

– Граф Линар?.. О, это пустая детская забава. Надобно чем-нибудь развлечь бедную девушку. Вы знаете, миледи, очень хорошо всю обстановку здешнего двора, тяжелый и суровый нрав императрицы, подозрительность герцога и, конечно, имеете общее понятие о характере моей воспитанницы. Ее надобно чем-нибудь оживить в те годы, когда грезы и мечты начинают тревожить воображение девушки. Мы сами женщины и должны помнить наше прошлое. Принцесса постоянно грустит, скучает, задумывается, и я боюсь, что характер ее совершенно испортится, а между тем, кто знает, – добавила гостья, еще более понизив голос, – какой высокий жребий ожидает ее и, быть может, даже в недалеком будущем... Здоровье императрицы, говоря между нами, несмотря на ее могучую натуру, стало не слишком надежно. Об этом, конечно, не позволяют говорить теперь и что она была больна – о том объявят разве только после ее кончины... Но откровенность за откровенность; меня чрезвычайно удивляет, откуда вы могли узнать то, что я считаю непроницаемой тайной, скажите, от кого вы слышали насчет графа Линара...

– Доверяя вам вполне, я не буду делать из моего ответа на ваш вопрос никакой тайны перед вами. О том, что принцесса Анна с некоторого времени занята графом Линаром, или, сказать прямее, страстно влюблена в него, говорил мне вчера мой муж и поручил мне поскорее передать вам об этом слухе, дошедшем до него совершенно случайно.

– О, милый и любезный баронет! Недаром же он слывет в Петербурге самым сметливым и проницательным дипломатом. От наблюдений его не ускользают даже сердечные дела, имеющие, впрочем, иной раз большое влияние и на политические события. Но «un homme prevenu en vaut deux», говорят его соотечественники, и это в большей части случаев бывает совершенно верно. Я очень благодарна баронету за его внимание и за откровенность, но посудите сами, миледи, о моем затруднительном положении. Я иностранка без всяких личных и родственных связей при здешнем дворе, попавшая случайно в наставницы и руководительницы, быть может, будущей русской самодержицы. Я волей-неволей поставлена в необходимость угождать ей, заискивать ее расположение, ее дружбу, и вот почему, с моей стороны, приходится допускать некоторую, хотя, по-видимому, и не слишком уместную снисходительность. Впрочем, в настоящем случае, скажу вам, миледи, нет решительно ничего серьезного и не может быть ничего опасного для принцессы. Любовь ее к графу Линару не более как пустая шалость, как маленькое развлечение для бедной девушки, которую хотят выдать замуж насильно не только за нелюбимого, но даже за презираемого ею человека...

– Да, этот брак, как кажется, не предвещает ничего хорошего в будущем. Теперь принцесса еще очень робка, но нельзя сказать, что из нее будет потом; нынешнее же ее положение весьма незавидно. Она прежде всего жертва политических соображений и холодных расчетов, которые, однако, как известно, не всегда благополучно сводятся к концу. Принцесса живет во дворце императрицы, на правах родной дочери; на нее смотрят теперь, как на наследницу русского императорского престола. Какая великая будущность для скромной немецкой принцессы! Но в то же время, как сурово обходятся с ней, а между тем она теперь уже в таком возрасте, что могла бы пользоваться некоторой свободой и заявить о себе чем-нибудь, тем более что, благодаря вам, ее воспитывали с большой заботой. Жаль, впрочем, что в ней нет ни особенной красоты, ни грации и что до сих пор она не выказала никакого блестящего качества.

– Это справедливо, но зато в сущности принцесса – доброе создание, хотя, говоря по правде, она вовсе и не рождена для короны. Она, кажется, была бы гораздо счастливее в скромной обстановке с человеком, которому предалась бы от всего сердца. Какая, однако, резкая разница между ею и цесаревной Елизаветой...

– Что за прелесть Елизавета! – почти вскрикнула в восторге хозяйка. – Вот красавица, так красавица: бела необыкновенно, прекрасные волосы, большие и живые глаза, хорошенький ротик, зубы как жемчуг. Хотя она, как кажется, и расположена к полноте, но зато как стройна она теперь! Как хорошо она танцует! Я никогда и нигде еще не видела, чтобы какая-либо из женщин могла сравниться с нею в ловкости и грациозности. Образованием ее также, по-видимому, не пренебрегли: она говорит по-французски, по-итальянски и по-немецки. А какой у нее веселый характер, как она обходится с каждым и ласково, и вежливо, и как она ненавидит все натянутые придворные церемонии...

– Да, она очаровательная женщина, но я думаю, что на такой хорошенькой и ветреной головке едва ли долго удержался бы тяжелый царский венец, – заметила гостя, отрицательно покачивая головой.

– О, ваша принцесса держит себя совсем иначе: она не по летам степенна, говорит вообще мало и, как мне передавали, никогда будто бы не смеется. Это мне кажется, впрочем, неестественным в такой молодой девушке и происходит, по моему мнению, – прошу извинить, я, вероятно, ошибаюсь, – скорее от тупости, нежели от рассудительности.

– В этом случае я с вами не совсем согласна, миледи, – вежливо возразила гостя. – Принцесса Анна в свои годы довольно умна, но только по характеру, несмотря на ее серьезный вид, она еще совершенный ребенок: она вспыльчива, капризна и, главное, изумительно беспечна. От этих недостатков теперь едва ли возможно отучить ее, тем более что все обстоятельства ее жизни до сих пор складывались так, что могли развить в ней скорее дурные стороны, нежели хорошие качества. Насколько я могла убедиться, в ней есть одна отличительная черта: она под равнодушной, холодной наружностью скрывает сердце, способное пламенно любить. Покойная герцогиня Макленбургская много виновата в том, что в малолетство своей дочери не заботилась о ее воспитании, а направить ее в ту пору на хорошую дорогу было бы не слишком трудно. В ней все-таки есть много хороших задатков. Наружность ее, правда, не отличается особенной красотой, но зато она чрезвычайно статна, и редко можно встретить девушку с такой гибкой и тонкой талией. Заметьте, что она вообще небрежна в своем наряде, и для нее надеть корсет и причесать волосы по моде – истинное мучение. Я с ней постоянно ссорюсь из-за этого. Скажу еще вам, что некоторые, как, например, молодой граф Миних, находят ее даже красавицей, но зато многим не нравится ее всегда задумчивый и печальный вид, а у нас в Германии существует поверье, что такое постоянное выражение лица бывает предвестником бедственной жизни. Что будет дальше – угадать трудно, но теперь мне жаль мою бедненькую принцессу, и вот почему, сказать между нами, я не препятствую ее невинным письменным сношениям с графом Линаром. Я делаю вид, будто ничего не знаю. Они начались без всякого моего участия, и те практические соображения, о которых я вам говорила прежде, заставляют меня не ссориться с принцессой. Притом как же и поступить мне: не явиться же к императрице или к герцогу в качестве доносчицы на принцессу?.. Наконец, я имею в виду, что она скоро выйдет замуж и тогда, как это обыкновенно бывает, легко забудет нынешнюю любовь. Я пыталась недавно разговаривать с государыней о нежелании принцессы вступить в предполагаемый брак, но она холодно и резко отклонила этот разговор, приведя какую-то русскую пословицу, смысл которой: стерпится – слюбится.

Во время этого разговора послышался перед домом шум подъезжавшего экипажа. Хозяйка взглянула в окно.

– А вот и мой муж возвратился из города, – сказала она, – он будет очень рад, что застал вас еще здесь.

Приведя в порядок свой туалет, потерпевший несколько в дороге, баронет появился в гостиной. Он был щеголеватым, красивым мужчиной средних лет, его наружность, а также живость и бойкость его манер обнаруживали его французское происхождение. Наговорив госте разных почтительных любезностей, он принялся передавать ей только что слышанные

им городские новости, затем заговорил с ней о политических делах и о своих коммерческих операциях. То серьезная, то шутливая беседа хозяев с гостьей длилась довольно долго. Проводив гостью, баронет сказал жене, что ему нужно приготовить к завтрашнему дню несколько депеш, и предложил ей, не захочет ли она отправить с ними и свои письма. Затем он пошел наверх в свой кабинет и засел там за своими бумагами, а жена его принялась писать письмо к своей лондонской приятельнице. В письме этом были между прочим следующие строки:

«Госпожа Адеркас, гувернантка принцессы Анны, родилась в Пруссии и осталась вдовой после генерала, который, кажется, был родом француз. Она была с ним во Франции, в Германии и в Испании. Она очень хороша собою, хотя уже не молода, и обогатила свой природный ум чтением. Так как она долго жила при разных дворах, то ее знакомства искали лица всевозможных званий, что и развило в ней умственные способности и суждения. Разговор ее может нравиться и принцессе, и жене торговца, и каждая из них будет удовлетворена ее беседой. В частном разговоре она никогда не забывает придворной вежливости, а при дворе – свободы частного разговора; в беседе она, как кажется, всегда ищет случая научиться чему-нибудь от тех, с кем разговаривает. Я думаю, однако, что найдется очень мало лиц, которые сами не научились бы от нее чему-нибудь. Самые приятные часы с тех пор, как я живу в Петербурге, я провела с нею, хотя обязанности ее не позволяют мне пользоваться ее беседой так часто, как я желала бы, но когда это случается, то я провожу время и приятно, и поучительно».

Письмо это в особом конверте было вложено в большой пакет, на котором значилось, что он посылается от баронета Рондо, английского резидента в Петербурге.

II

К началу августа императрица Анна Иоановна со своим малочисленным двором переехала по обыкновению в Петербург, в так называемый Летний дворец, чтобы там провести конец теплого времени года. Летний дворец был построен в 1711 г. Петром Великим, в углу, образуемом Летним садом и Фонтанкой. Почти до сих пор он сохранился в своем первоначальном виде. По случаю празднества бракосочетания герцога Голштинского с цесаревной Анной Петровной, при Екатерине I, рядом с этим Летним дворцом была выстроена большая деревянная галерея с четырьмя залами по бокам. Галерея эта по приказанию императрицы Анны Иоановны была сломана в 1731 году, и на ее месте выстроили новый деревянный дворец, очень плохой архитектуры, существовавший до воцарения Елизаветы Петровны.

Наступила осень, и императрица переехала на зимнее житье. Прежний каменный двухэтажный дворец, находившийся на берегу Невы на углу Зимней канавы и Большой Миллионной, с его пристройками на том месте, где ныне находится Эрмитаж, казался Анне Ивановне и тесным, и неудобным. Поэтому она для зимнего своего пребывания выбрала в 1732 году обширный дом адмирала графа Апраксина, подаренный им в 1728 году императору Петру II и стоявший почти на том же месте, где ныне находится Зимний дворец.

Живя в городе, императрица каждый день в 8 часов утра была уже на ногах и, окончив свой утренний туалет, начинала с 9 часов принимать своих министров или у себя в кабинете или в манеже, к которому приучил ее Бирон, страстный охотник до верховой езды, отлично обучавший самых непокорных коней.

Было пасмурное ноябрьское утро, и свечи еще горели в покоях императрицы, когда к ней с докладом явился второй кабинет-министр граф Андрей Иванович Остерман. Несмотря на любовь императрицы к роскошной одежде, министр приехал к государыне одетым крайне неряшливо, в полинялом кафтане какого-то светло-бурого цвета, в жабо не первой белизны, в плохо напудренном и набок надетом парике, в грязноватых чулках и поистоптанных башмаках. Государыня, зная скупость Остермана, снисходительно смотрела на такое отступление от правил придворного этикета, требовавшего изящества и порядка в одежде.

– Ну что, Андрей Иваныч, – сказала ему императрица, покончив с ним разговор о подписанных ею бумагах, – слава Богу, дело наше устроилось: подождем еще немного, да и свадьбу сыграем. Слишком скоро покончить нельзя. Готовила я Аннушке приданое давно, а все-таки оказывается, что нужен был год, чтобы выдать ее замуж, как следует выдать богатую невесту. Да и теперь еще кое-чего не успели приготовить в Париже. Спишись-ка об этом с князем Кантемиром, да пусть он побольше закупит перчаток, да чулков и мне, и невесте. Праздники будут у нас большие. Кажись, я и приказывала тебе прошлый раз об этом?..

– Я уже и исполнил повеление вашего величества, и мне остается только радоваться, что Бог благословил намерения ваши.

– Помню я, Андрей Иваныч, как ты и старший Левенвольд, когда вы узнали, что я ни за что не хочу второй раз выходить замуж, стали заговаривать со мной о необходимости унаследования престола.

– Тогдашние обстоятельства, ваше величество, требовали этого безотлагательно...

– Правда твоя, правда, – густым голосом, почти что басом проговорила Анна Иоановна. – Ведь вот поди, кажись, какое легкое дело выдать замуж племянницу, да и она не бесприданница какая-нибудь, и дети бы от брака с нею хорошо устроены были, а сколько, однако, нам пришлось хлопотать.

– Различные инфлуенции и конъюнктуры европейских дворов много тому препятствовали, – заметил с глубокомысленным видом Остерман.

– То-то и есть, а все устроилось бы гораздо легче, если бы я Аннушку прямо объявила моей наследницей. Да ты и Левенвольд отклонили меня от этого.

– К сему, ваше величество, побуждало нас искреннее желание блага России... Несмотря на усердные моления верноподданных, жизнь царей в руках Господних, и если бы, от чего Боже сохрани, ее высочество еще безбрачная неожиданно сделалась преемницей вашей, то, не говоря о том, что на российском престоле не утвердилось бы мужское поколение, цесаревна Елизавета...

– Знаю, что ты мне хочешь сказать, Андрей Иванович, – прервала императрица, нахмутив свои густые брови.

– Кроме того, отец принцессы...

– Этот старый негодник забрался бы к нам и начал бы хозяйничать по-своему...

– Так точно, ваше величество. Притом принцесса Анна Леопольдовна, объявленная лично наследницей... – проговорил, заминаясь, министр.

– Небось, зазналась бы передо мной?.. Нет, Андрей Иванович, никогда бы этому не бывать... Плохо, видно, вы еще меня знаете, – проговорила императрица и, выпрямившись во весь свой огромный рост, взглянула суровыми глазами на оторопевшего Остермана. – Все это пустяки! Никому баловаться и своевольничать я не позволю, – добавила она твердым голосом, погрозив пальцем. – При дворе и в городе, чего доброго, пожалуй, иное думают и толкуют теперь себе под нос, что вот, мол, не захотела принцесса пойти замуж за принца Курляндского – и не пошла, и тетка ничего с нею поделать не могла...

Остерман, очень хорошо знавший истинную причину нерасположения императрицы к этому браку, поспешил льстиво заметить, что в этом случае высочайшая премудрость ее величества была лучшей руководительницей.

– А сказать тебе по правде, – начала императрица ласковым тоном, – ведь и настоящий-то жених не ахти какой. Навязал нам его римский император; захотел получше устроить своего племянника, и не отослала я назад его в неметчину потому только, что не хотела вздорить с венским двором, а то давным бы давно с глаз моих его прогнала. Неказист он больно, и говорю я близким ко мне, как ты, людям без всякой утайки: принц Антон также мало мне нравится, как и своей невесте, да что будешь делать? – высокие особы не всегда по склонности браком соединяются. Вот хоть бы я и сама: покойный дядя мой Петр Алексеич, – царство ему небесное, – выдал меня за герцога, не спрося меня, мил ли мне жених или нет. А все же я охотно пошла за него. Горемычное житье было наше, когда мы после царя-родителя сиротами остались. Брат твой у нас учителем был, и он все хорошо знать должен. Кто только нас не обижал тогда, и надлежащих нам по рождению титулов даже не давали, а звали попросту Иоанновыми. Да и во вдовстве моем разве мало я всякого горя и принижения натерпелась...

Императрица тяжело вздохнула и немного призадумалась. В памяти ее быстро ожили те дни, когда она, пленившись блестящим Морицем Саксонским, с такой радостью готова была отдать ему свое сердце, свободное еще от полновластного владычества Бирона.

– Много, много в жизни своей я натерпелась, – начала она. – Бывало, приеду сюда из Митавы, так словно какая-нибудь челобитница из подлого народа; то к светлейшему князю Александру Данилычу, то к другим знатым персонам ходишь, чтобы какую-нибудь тысячку рублевиков выпросить: да и ту с попреками неохотно давали... А вот как посмотришь, то не только все хорошо обошлось, но еще и самодержавствовать мне Господь Бог привел.

– Он взыскал ваше величество своею милостью для славы и счастья российского отечества, – подхватил Остерман, низко склоняясь перед императрицей.

– Устал ты, Андрей Иванович, поезжай домой да отдохни.

– С рабским моим усердием на службе всемилостивейшей моей государыни никакой усталости никогда не чувствую...

– Спасибо тебе за твою службу...

Остерман хотел было стать на колени, но ноги его дрожали, и он испустил тихий, сдержанный, быть может, и притворный стон.

– Не нужно, не нужно, – сказала императрица и протянула ему свою большую руку, которую Остерман поцеловал с благоговением.

Анна Иоановна милостиво кивнула ему головой на прощание.

III

В ту пору, к которой относится наш рассказ, жизнь в Петербурге отличалась, между прочим, и тем, что в здешних даже самых знатных домах утро начиналось гораздо ранее, нежели теперь, и сообразно со вставанием спозаранку распределялся весь день. Так, императрица Анна Иоановна постоянно обедала в полдень. Прихода ее в столовую ожидал Бирон со своим семейством и, кроме этих лиц, никого никогда не бывало за ежедневным обедом государыни. Даже для принцессы Анны Леопольдовны, жившей в одном дворце с императрицей, держали особый стол. У принцессы вообще не бывал никто из посторонних, и все ее общество ограничивалось воспитательницей, безразлучной ее подругой, фрейлиной баронессой Юлианой Менгден, да несколькими камер-юнгферами. Принцессу держали во дворце под строгим надзором. Императрица и Бирон допытывались беспрестанно у приставленных к принцессе согладатаев о том, кто из чужих людей был в течение дня в ее покоях. За случайными посетителями и посетительницами Анны Леопольдовны учреждался тотчас же бдительный надзор, и они могли быть уверены, что имена их значатся в списках тайной канцелярии в числе так называвшихся тогда «намеченных» людей, т. е. таких оподозренных личностей, которых при каком-нибудь особом случае следовало немедленно притянуть к допросам и пыткам. Разумеется, что такой строгий надзор за принцессой был учрежден в политических видах, но в этом отношении он был совершенно излишен, так как Анна Леопольдовна вовсе и не думала заниматься политическими делами. Надзор этот оказался, однако, недействительным на те случаи, когда, как говорится, девушку под замком не удержишь.

На придворных балах и в близком к императрице кружке принцесса встречала изящного, щеголеватого польско-саксонского посланника графа Морица-Карла Линара. Он был воспитанником известного ученого Бюшинга и при высоком образовании отличался светской любезностью, усвоенной им при дрезденском дворе, который в ту пору соперничал с версальским в отношении лоска и блеска. Современные сказания не оставили описания наружности графа Линара, и портрета его нам видеть не приводилось, но, судя по общим отзывам современников, Линар был такой красавец, что при своем появлении заставлял трепетать все женские сердца. В Петербург приехал Линар уже не юношей, но мужчиной в полном цвете красоты и молодости: ему было тогда с лишком тридцать лет, так что он шестнадцатью годами был старше принцессы Анны. В длинной веренице дам и девиц, плененных Линаром, была и принцесса. Неизвестно, когда и как началось между ними сближение; неизвестно также, увлекался ли граф Линар Анной, как страстно полюбившей его девушкой, и платил ей взаимной страстью, или же в пылкой ее любви он видел только удовлетворение своего тщеславия и суетности. Быть может, таинственность и опасность такой любви придавали, в глазах Линара, особый, привлекательно-романтический оттенок сближению с принцессой: самолюбию победоносного красавца могло быть очень приятно присоединить к числу изнывавших по нему дочерей Евы и будущую, по всей вероятности, наследницу русской короны. Между ней и Линаром завязались письменные сношения. Не имея случая часто видаться, принцесса и граф обменивались между собой записочками, которые не дошли до нас, и потому нельзя знать, содержали ли они в себе только пустые восточки друг о друге или были наполнены пламенными признаниями и взаимными клятвами любить друг друга вечно, до гробовой доски. Какого бы, впрочем, содержания ни была эта переписка, она довольно долго велась между принцессой и графом, и если верить дошедшим до нас сказаниям, то г-жа Адеркас в разговоре своем с леди Рондо не была вполне откровенна. Наставница принцессы не только снисходительно, как на детскую забаву, как на невинное развлечение, смотрела на каллиграфические упражнения своей питомицы, но даже сама способствовала передаче пересылаемых с той и другой стороны цидулок. Статься может и то, что такие послания, проходя предварительно через цензуру наставницы, ограни-

чивались только тем, что в отношении любви не имело никакого существенного значения, и потому гувернантка принцессы, побывавшая при разных европейских дворах того времени, где девическая скромность – хотя бы и принцесс – не считалась необходимой добродетелью, не видела особенной важности в маленьких грешках своей царственной воспитанницы.

Но возвратимся к Анне Иоановне.

Постоянные ее обеды с семейством Бирона не бывали только в самые торжественные дни. В эти дни государыня кушала в публичке. Тогда она садилась на трон, устроенный под великолепным бархатным балдахин, украшенным золотым шитьем и такими же кистями, имея около себя с одной стороны цесаревну Елизавету Петровну, а с другой принцессу Анну Леопольдовну. На этих торжественных обедах выказывалась вся роскошь и пышность тогдашнего петербургского двора. На столах блестели и изящный богемский хрусталь, и севрский фарфор, и серебро, и золото в изобилии, поражавшем иностранных гостей. Но всех тогда поражало еще более одно особое обстоятельство: Бирон на это время сходил с высоты своего величия. Он являлся тут не застольным бесцеремонным собеседником императрицы, но почтительно прислуживал ей в звании обер-камергера, которое он сохранил за собой и по получении герцогского сана. В последние годы царствования Анны Иоановны торжественные обеды давались очень редко, по всей вероятности, ввиду того, чтобы не низводить владетельного герцога Курляндского на степень простого царедворца.

Во время одного из тех ежедневных обедов, о которых мы упомянули выше, сидели за одним столом с императрицей герцог с герцогиней, двое из сыновей и дочь Гедвига. Бирон и его семейство говорили обыкновенно по-немецки, так как государыня, хотя сама и затруднялась совершенно свободно объясняться на этом языке, но очень хорошо понимала, что говорили другие. Во время обеда речь зашла случайно о графе Линаре.

– Почитай, что он теперь у нас первый красавец в Петербурге, – сказала императрица.

– Правда, ваше величество, за это он и пользуется такими успехами у здешних дам и девиц, – подхватила герцогиня.

– У нас насчет дам не всегда счастливо сходит с рук, – сказала, улыбаясь, Анна Иоановна, – особенно если кто-нибудь проболтается. Вот когда я жила в Москве, то там завелся один господин, – да ты, герцог, его знал, – большой ходок по этой части. Он и стал было хвалиться своими проказами с дамами, с которыми встречался в знакомом доме. Дошло это хвастовство его до мужей, и вот тогда и жены, и мужья согласились проучить молодца, чтобы он не хвастал по-пустому, если ничего не было, а если и было, то умел бы молчать. Одна из барынь пригласила к себе этого кавалера будто бы поужинать с ней наедине. Разумеется, он не отказался, а когда приехал, то она и принялась выговаривать ему, что он больно болтлив. Он было стал отнекиваться, а в это время вошли другие дамы со своими обиженными мужьями и уличили его. Тогда порешили с этим хватом произвести расправу, и произвели ее и сами барыни, и их служанки: просто-напросто высекли молодца, да так, что он несколько дней провалялся в постели.

Анна Иоановна, любившая почему-то повторять этот рассказ, засмеялась густым смехом.

– Это уж слишком по-московски, – заметил язвительно герцог.

– Ну, острастка иногда не мешает, – проговорила герцогиня, – вот хоть бы граф Линар...

Герцог быстро взглянул на жену, показывая ей глазами на сидевшую за столом принцессу Курляндскую и тем давая знак герцогине, чтобы она прекратила начатый разговор. В свою очередь императрица пытливо посмотрела на герцога, который движением физиономии дал понять императрице, что он после поговорит с нею о графе Линаре, и затем перевел речь на любимый свой предмет – на лошадей, принявшись с жаром знатока и любителя оценивать прекрасные стати тех из них, которые на днях присланы были ему в подарок от короля прусского.

Императрица слушала толки герцога довольно рассеянно. Заметно было, что начатый и так таинственно прерванный разговор о Линаре занимал ее более, нежели приевшиеся уже

ей рассказы герцога о лошадях, сбруе, манеже и конюхах. Видно было, что она с трудом сдерживала врожденное и теперь сильно возбужденное любопытство; и действительно она хотела, чтобы ей поскорее разъяснили какие-то темные намеки, сделанные герцогиней насчет графа Линара. Она понимала, что герцогиня проговорила неосторожно, преждевременно и что здесь кроется что-то, ей пока еще неизвестное.

По окончании обеда императрица перешла с Бироном в другую комнату, и здесь герцог наедине передал ей дошедшие на днях до него от его собственных лазутчиков сведения о сношениях принцессы Анны Леопольдовны с Линаром. Он просил государыню подождать с решением этого дела до вечера, так как к этому времени надеялся представить ее величеству несомненные доказательства виновности легкомысленной принцессы. После продолжительного разговора по этому поводу императрица поручила Бирону, чтобы он, на всякий случай, приказал графу Остерману и начальнику тайной канцелярии, генералу Ушакову, явиться к ней во дворец на сегодняшнее вечернее собрание, сказав, что она сообразно с тем, что окажется по делу принцессы, даст каждому из них особое повеление.

Погрозив расправиться со всеми виновными как следует, Анна Иоановна принялась внимательно рассматривать ружье, только что поднесенное ей тульскими оружейниками. Судя по ее замечаниям насчет ружья, можно было сказать, что она отлично знала толк в огнестрельном оружии, и в этом не было, впрочем, ничего удивительного. Известно, что она чрезвычайно любила охоту и стрельбу из ружей, в которой приобрела такую сноровку, что без промаха попадала в цель, и также очень редко случалось, чтобы выстрел ее был неудачен, если он был направлен ею в летящую птицу. Во внутренних ее покоях стояли всегда заряженные ружья; она стреляла из них через окна в пролетающих мимо дворца галок, воробьев и ласточек, а в галерее дворца было устроено стрельбище, где иногда назначалась стрельба на призы, в которой должны были принимать участие, в угоду императрице, все придворные, не исключая и дам.

Осмотрев ружье, она, как это делала каждый день после обеда, сыграла с герцогом несколько партий на биллиарде, показав в этой игре замечательное со своей стороны искусство. Затем, расставшись с герцогом, пошла во внутренние свои покои через комнаты герцогини.

В это время у герцогини была известная уже нам леди Рондо, которая в одном из писем к своей лондонской приятельнице передавала следующее:

«Герцогиня – большая любительница вышивания, и, узнав, что у меня есть несколько вышивок моей собственной работы, пожелала их видеть и пригласила меня к себе работать два или три раза в неделю. Я приняла это приглашение с удовольствием по двум причинам: во-первых, г. Рондо, занимая настоящий пост, может извлечь из этого выгоды; во-вторых, мне представляется случай видеть царицу в такой обстановке, в какой иначе никак нельзя было бы видеть, потому что она постоянно проходит через ту комнату, в которой мы занимаемся рукоделием. Так как комнаты ее смежные с комнатами герцогини, то она после обеда много раз приходит к нам, не обращая внимания на то, встаем ли мы перед нею или нет. Иногда она садится за пядь, работает вместе с нами и много разговаривает об Англии и обо всем, что касается королевы. По ее словам, она так желает видеть королеву, что охотно сделала бы полдороги ей навстречу. По-видимому, она довольна, когда я стараюсь говорить с нею по-русски, и так милостива, что учит меня, когда я выражаюсь худо или затрудняюсь в разговоре. Это случается очень часто, потому что я говорю по-русски плохо, хотя и понимаю, что говорят другие; мне очень приятно видеть столько добродушия в особе, имеющей такую неограниченную власть. Во время ее присутствия у герцогини бывает обыкновенно пять или шесть дам и один или два придворных кавалера, которые ведут самый обыкновенный разговор. Иногда императрица принимает в нем участие как равная, сохраняя, однако, свое достоинство, но таким образом, что при этом не чувствуется никакого стеснения».

IV

Вечером того дня, когда императрица говорила наедине с Бироном о принцессе Анне Леопольдовне и о графе Линаре, было во дворце обыкновенное собрание.

В ту пору дворцовые собрания не отличались уже прежней беспорядочностью и полной непринужденностью, какие господствовали на дворцовых ассамблеях Петра Великого, а отчасти продолжались еще и при Екатерине I. Собрания эти не напоминали и тех шумных охотничьих пирушек, какие происходили при Петре II. В противоположность всему этому в роскошно отделанных залах дворца Анны Иоановны были тишина и чинность со стороны гостей. Строгий чопорный этикет версальского двора усваивался мало-помалу и петербургским, хотя при нем не исчезли окончательно простые, незатейливые или, вернее сказать, грубые обычаи и развлечения нашего старинного быта. В домашней своей жизни императрица Анна Иоановна была настоящей богатой русской барыней со всеми привычками и замашками того времени, и даже долголетнее пребывание ее в Митаве, среди немцев, не отучило ее окончательно от той обстановки жизни, которую она привыкла видеть с детства в своей семье. Если, впрочем, во дворце Анны Иоановны и допускались неприличные и, по нынешним нашим понятиям, разные слишком обидные для царедворцев потехи и шутки, если она и забавлялась с шутами, шутихами, скоморохами, карлами и карлицами, – то наряду с этим пробивалось уже понятие и о том, что русский двор должен усваивать хорошие образцы и утонченный вкус западных европейских дворов. При дворе Анны Иоановны были уже актеры, а также и музыканты и певцы, выписанные из Италии в Петербург на большое жалованье. Итальянская и немецкая комедия чрезвычайно нравилась ее придворным. При ней же в 1736 году была поставлена в Петербурге первая опера.

Бирон, любимец императрицы, был большой охотник до роскоши и великолепия, и уже этого было довольно, чтобы внушить императрице желание сделать свой двор самым блестящим в Европе. С этой целью употреблены были большие суммы денег, но желание императрицы не легко и не скоро исполнялось. Перенимаемые у нас из Франции изысканность и щеголеватость сталкивались на каждом шагу с прежними беспорядочностью и неряшливостью. И та, и другая отражались сильно не только в общественных сношениях, взаимных поступках, образе жизни, но и во всех условиях домашнего быта. Часто у иного придворного щеголя, при богатейшем кафтане, парик был прескверно вычесан, превосходную штофную материю неискусный крепостной портной портил дурным или смешным покроем, или, если чей-нибудь наряд был во всех отношениях безукоризнен, то экипаж был крайне плох, и иной вельможа в богатом французском костюме, в шелку, бархате и кружевах ехал в дрянной старой карете, которую еле волокли заморенные клячи, в изорванной упряжи, а на запятках стояли гайдуки в рваных ливреях и в дырявых сапогах; таким же нарядом отличались обыкновенно кучер и фореитор.

Отсутствие вкуса и порядочности господствовало также и в домах; в одном и том же доме можно было найти выписанную из Парижа самую новомодную мебель, золотую и серебряную посуду в большом изобилии, шелковые обои, великолепные гобелены, редкие картины, фарфор, бронзу и ковры, а вместе с тем пыль, грязь и отвратительную нечистоту, даже в роскошно отделанных приемных покоях, не говоря уже о других принадлежностях жилья, недоступных для посторонних.

Женские наряды представляли такую же крайнюю противоположность, как и мужские; на один женский изящный туалет встречалось тогда в Петербурге десяток безобразно одетых женщин. Превосходные брюссельские и венецианские кружева нашивались на полотняные роброны, дорогой лионский бархат и шелковая материя шивалась вместе с какой-нибудь

самой простой домашней тканью. Фасоны дамских платьев, заимствованные из Франции, переделывались в Петербурге на домашний уродливый лад.

Такие противоположности одного с другим были общим явлением, и мало встречалось домов и лиц, особенно в первые годы царствования Анны Иоановны, которые составляли бы в этом отношении заметное исключение. Только мало-помалу русская знать, а за нею и прочее дворянство стали подражать тем, у кого было более вкуса. Даже двор не мог сразу усвоить себе тот порядок и ту изящность, какие были уже тогда в других странах Европы. На это потребовались многие годы.

Между тем роскошь, хотя и безвкусная, стоила двору громадных издержек. При Анне Иоановне придворный, который в состоянии был издерживать в год только по две, по три тысячи рублей на свой гардероб, не мог еще похвастать щегольством. Все поголовно разорялись на наряды, и один тогдашний остряк заметил, что следовало бы расширить городские заставы для выпуска дворян, напяливших на себя при выезде из Петербурга целые деревни. И действительно, в ту пору люди, служившие при дворе, в течение немногих лет растрачивали свое состояние на наряды. Жалованьем никак нельзя было покрывать свои расходы по этой слишком дорого стоившей статье, и, по словам одного современника, довольно было какому-нибудь предприимчивому французу – торговцу мод прожить года два в тогдашнем Петербурге, чтобы приобрести значительное состояние, хотя бы он начал торговлю в кредит, без копейки собственных денег.

Кроме нарядов, тогдашнюю русскую знать разоряла еще и страшная карточная игра, которая даже и при дворе велась в громадных размерах. Многих она в ту пору обогатила, но и многих разорила вконец. Тогда случалось сплошь и рядом, что при дворе в один присест проигрывали по 20000 рублей на тогдашние серебряные деньги в банк и в квинтич. В частных домах кипела непрерывная карточная игра, причем груды золота переходили из рук в руки.

Императрица, впрочем, не была охотница до игры и если играла в карты, то для того только, чтобы проиграть и тем самым наградить косвенным образом более или менее значительной суммой кого-нибудь из близких ей людей, заслуживших ее благоволение. В таких случаях она всегда сама держала банк, позволяя понтировать только тому, кого вызывала к игорному столу. С государыней играли не на наличные деньги, а на марки, по предъявлении которых производились на особом столе выдачи выигранных у нее денег. Государыня получала марки, но не разменивала их на счет проигравших ей и вообще не брала денег от тех, кто ей проигрывал, хотя и любила оставаться в выигрыше.

В тот вечер, к которому относится наш рассказ, в числе приглашенных императрицей к игре лиц был и польско-саксонский посланник граф Линар. Счастье, однако, не везло ему; он ставил карту за картой, но все они были биты.

– По примете, вы, граф, должны быть очень счастливы в любви, так как все проигрываете, – не без заметной колкости, хотя и шутивным тоном сказала по-немецки императрица, обращаясь к Линару. – Я говорю, что граф счастлив в любви, – перевела она по-русски стоявшему в числе игроков князю Куракину.

– Уж если граф такой охотник играть в карты, – живо заметил князь, – то лучше было бы бросить ему любовные делишки, а то как погонишься за двумя зайцами, так, чего доброго, ни одного не поймашь.

– И это правда, – поддакнула Анна Иоановна.

– Ведь и мы, ваше сиятельство, кое-что насчет вас того знаем, – начал было Куракин, обращаясь к Линару, но императрица строгим взглядом удержала князя от дальнейшей болтовни, которая была в числе главнейших его слабостей. Анна Иоановна считала достаточным сделанного ею Линару косвенного намека и не хотела дать воли языку Куракина, имевшего привычку болтать все, что взбредет на ум.

Линар в недоумении поглядывал на императрицу и на Куракина, не догадываясь, впрочем, в чем дело.

– Продолжайте играть, граф, теперь вы, быть может, будете счастливы без меня, а ты, герцог, – сказала она стоявшему возле нее Бирону, – помечи за меня на счастье графа Линара.

Передав карты герцогу, императрица отправилась в тот угол залы, где, в отдалении от всех присутствующих, ожидали обыкновенно лица, которым приказано было явиться вечером во дворец по какому-нибудь особенному делу. Теперь в этом углу залы ожидали императрицу Остерман и Ушаков, вообще очень редко приезжавшие на вечерние дворцовые собрания (один из них под предлогом болезни, а другой под предлогом не терпящих отлагательства дел, безустанно производившихся в заведываемой им тайной канцелярии). Оба они, как чрезвычайно сметливые люди, очень хорошо понимали, что чем реже будут мелькать на глазах у придворных, тем менее будет неблагоприятных о них толков и тем прочнее будет положение их при дворе. Ездить же для того только, чтобы показаться императрице и герцогу, они считали для себя излишним, так как они во всякое время имели свободный доступ и к ней, и к нему и, следовательно, могли напомнить о себе всегда, когда находили нужным воспользоваться этим.

Между тем Бирон принялся исполнять данное ему императрицей поручение с жаром страстного игрока. С первого взгляда на него в эти минуты можно было убедиться, что герцог был опытный картежных дел мастер, и, действительно, он считал потерянным тот день, когда не играл в карты, но такие дни едва ли и бывали у него во времена его величия. Он постоянно вел громадную игру и тем самым ставил в неловкое положение своих партнеров, хотя и жаждавших чести поиграть с его светлостью, но вместе с тем не желавших ни обыграть хорошенько могущественного фаворита, ни спустить в пользу его такой значительный куш, который сразу мог дать почувствовать пустоту даже в самом туго набитом кармане.

– Ну, господа, примемся за дело, – с довольным и вызывающим видом сказал герцог игрокам, почтительно стоявшим около него.

Герцог взялся за карты и затем отдался игре. Наверно, если бы кто-нибудь из старых его приятелей и знакомых взглянул в это время на него, то тотчас бы узнал в надменном и сановитом герцоге Курляндском, Лифляндском и Семигальском прежнего Бирона, без удержу дувшегося в карты, на последние гроши, во время своего бурного студенчества. Из рук его, полуприкрытых манжетами из тончайших кружев и искрившихся радужными огнями от множества драгоценных перстней, то плавно выскользали, то быстро выбрасывались карты на зеленое сукно. Он при каждом ударе внимательно обводил глазами тесный круг игроков и, как человек, отлично испытывавший на себе волнения и раздражения, производимые огромной азартной игрой, пытливо вглядывался в выражение лица партнеров. Он напряженно следил за ходом игры: одобрял смелых игроков, подсмеивался над трусливыми, сочувствовал и выигрышу, и проигрышу. Вообще, исполняя обязанности банкмета, он был как нельзя более на своем месте. Бирон весело шутил и острил, и хотя его шутки и остроты, как обыкновенно, были и грубы, и плоски, но лица присутствующих осклаблялись приятной улыбкой, и, вероятно, многие из них чистосердечно думали: «Право: славный малый был бы герцог, если бы он всю жизнь только то и делал, что играл бы в карты».

Во все время игры он только раз, да и то равнодушно и лениво, бросил искоса взгляд в тот отдаленный угол залы, где разговаривала Анна Иоановна с Остерманом и Ушаковым, – но не так поглядывали на отвратительно злобную физиономию этого последнего находившиеся в зале царедворцы; многим из них невольно приходило на мысль, что, чего доброго, не нынче, так завтра их кожа и кости попадут в переделку к грозному начальнику тайной канцелярии, не любившему никому давать спуска.

Поговорив немного в зале с Остерманом и Ушаковым, императрица позвала их в соседнюю комнату и, кончив аудиенцию, подошла к столу и стала смотреть на игру, спрашивая о ее

ходе и любопытствовав, отыгрался или нет граф Линар, которого, как оказалось, злая судьба преследовала неустанно во весь этот вечер.

В начале двенадцатого часа императрица удалилась ужинать в свои покои. Гости, поспешив забастовать игру, сели за ужин, приготовленный в одной из зал дворца, и вскоре после полуночи дворец опустел. Разъезжавшиеся гости шепотом толковали о расположении духа в этот вечер государыни и герцога и высказывали близким себе людям догадки и предположения насчет того, о чем могла бы говорить государыня так долго с Остерманом и Ушаковым.

На другой день, чуть забрезжило утро, генерал Ушаков в сопровождении переводчика тайной канцелярии и своего адъютанта явился к г-же Адеркас и объявил ей повеление императрицы – тотчас же оставить дворец и затем немедленно отправиться за границу в сопровождении гвардии сержанта и трех капралов. Тщетно г-жа Адеркас протестовала против такой неожиданной меры. Напрасно спрашивала она Ушакова о причине внезапно постигшего ее гнева столь благоволившей к ней прежде государыни. Тщетными остались ее просьбы, как о позволении проститься с ее любимой воспитанницей, так и о разрешении объясниться лично с императрицей; на эти просьбы Ушаков отвечал решительным и грубым отказом, не допуская никаких дальнейших разговоров.

В то же самое утро граф Остерман, сидя за письменным столом в обыкновенном своем домашнем наряде – суконном красном шлафроке, подбитом лисьим мехом, – внимательно переписывал составленную им ночью депешу к саксонскому двору о графе Линаре и предназначенную к отправке в Дрезден в тот же самый день с нарочным курьером. Остерман тщательно отделявал и оттачивал каждую фразу и подолгу взвешивал каждое слово, так как предмет депеши представлялся слишком щекотливым для того, чтобы он мог быть высказан хотя бы с малейшей необдуманностью и неловкостью.

По поводу рассказанного нами события фельдмаршал граф Миних заметил в своих «Записках» следующее: «Госпожа Адеркас, совершенно не способная к исполнению обязанностей, сопряженных с порученной ей должностью воспитательницы принцессы Анны Леопольдовны, была внезапно выслана из России с повелением никогда туда не возвращаться, причем не была даже допущена проститься с ее величеством императрицей».

Другой современник этого события, Манштейн, по поводу его написал: «Старшую воспитательницу принцессы Анны, г-жу Адеркас, обвиняли в том, что она вместо того, чтобы дать хорошее воспитание и блюсти за ее поведением, вздумала потворствовать сношениям между принцессой и одним иностранным посланником. Когда это обнаружилось, то г-жу Адеркас немедленно уволили от должности и отправили в Германию, спустя несколько времени и посланника, мечтавшего о такой блестящей победе, удалили под предлогом какого-то поручения к его двору, с тем чтобы двор не возвращал уже его в Петербург».

При такой развязке дела герцог потирал от удовольствия руки, припоминая презрительный ответ принцессы на сделанное ей предложение вступить в брак с сыном его, принцем Петром. На рябом лице герцогини явилась приятная улыбка, когда она узнала об удалении Линара, а императрица задала хороший нагоняй племяннице за ветреность. Долго, однако, хмурился Ушаков, досадуя на то, что государыня успела узнать о шалостях принцессы помимо него. Он еще более распекал своих подчиненных и еще свирепее расправлялся со своими пациентами, вспоминая, что от него ушел такой редкий и отличный случай, который лучше всего мог бы свидетельствовать перед императрицей о неусыпной бдительности тайной канцелярии даже в стенах собственного ее дворца.

V

Прошло с лишком два года со времени высылки из Петербурга г-жи Адеркас и удаления от петербургского двора графа Линара, но участь Анны Леопольдовны не была еще решена окончательно, и жизнь принцессы тянулась из года в год прежней чередой. Хотя и говорили постоянно в придворных кружках о скором ее браке с принцем Антоном-Ульрихом Брауншвейг-Люнебургским, но совершение брака отлагалось на неопределенный срок по разным причинам, никому достоверно не известным, кроме государыни и самых приближенных к ней лиц. Между тем принцессе минуло двадцать лет; к этой поре она выровнялась и сделалась красивой девушкой. При среднем росте, она была чрезвычайно стройна и полна, но настолько, что полнота не только не портила ее стан, но даже, напротив, придавала всей ее фигуре некоторую величавость. Цвет ее лица был бледный и чрезвычайно нежный, волосы густые и темные, глаза томные и задумчивые, а черты лица хотя и не отличались правильностью, но зато добрая улыбка и кроткий взгляд делали ее и миловидной и привлекательной, а постоянная грусть, оттенявшая лицо, возбуждала невольное участие в тех, кому приходилось видеть Анну.

Хранились ли в эту пору в ее сердце воспоминания о Линаре – это осталось тайной, которую, если принцесса, несмотря на всю свою скрытность, и поверяла кому-нибудь, то разве одной только неразлучной спутнице своей уединенной жизни Юлиане Менгден. Но если бы даже эту первую любовь молодой девушки и успело уже изгладить время, то все же предназначенный ей жених ничего не выигрывал от такой перемены в чувствах Анны Леопольдовны. Он по-прежнему не встречал к себе с ее стороны ни малейшей тени внимания и расположения и несмотря на все его желание и постоянные, все более и более усиливавшиеся попытки хоть несколько сблизиться с невестой, – холодность и нескрываемое к нему презрение принцессы обнаруживались на каждом шагу все явственнее и все резче. Но такое обращение Анны с принцем не могло уже изменить ее участи, так как вскоре она, по политическим соображениям императрицы, должна была сделаться женой не любимого ею человека.

Впрочем, и полюбить принца Антона для молодой девушки, хотя и со свободным сердцем и даже не слишком разборчивой в выборе женихов, было трудно. Хотя принц приехал в Россию еще девятнадцатилетним юношей и прожил при петербургском Дворе в ожидании совершеннолетия невесты шесть с лишним лет, но уже ясно видно было, что он не успел даже в это довольно продолжительное время освоиться со своим положением, что он чувствовал себя не на месте и что у него не доставало ни ума, ни находчивости, чтобы приобрести себе при дворе хоть некоторый почет. Наружность принца не имела в себе ничего привлекательного: он был небольшого роста, худ, белобрыс, неловок и застенчив, и лицо его было лишено всякого выражения. Вдобавок к этому он заикался. Своей наружностью и своими неуклюжими манерами он при первом же своем появлении в Петербурге произвел самое неприятное впечатление как на невесту, так и на государыню, которая не раз выговаривала разъезжавшему в Германии, по поручению ее, свату, графу Левенвольду, за то, что он добыл в женихи ее племяннице такого невзрачного принца. Если же принц чем и понравился императрице, то лишь тем, что казался ей человеком тихим, уступчивым и непритязательным, а такие смиренные свойства в глазах Анны Иоановны считались похвальными качествами.

– Но неужели же и в самом деле я буду когда-нибудь женой этого противного мне принца? – с выражением сильной досады говорила однажды Анна Леопольдовна своей подруге Юлиане Менгден. – Я теперь не могу смотреть на него без отвращения. Недавно как-то тетюшка попыталась было похвалить мне его за тихий и спокойный нрав, но нрав-то его, помимо гадкой наружности, мне более всего и не нравится. Какой он мужчина? Чуть только на него прикрикнуть, он сейчас же и оробеет, растеряется вконец, начнет заикаться, переминаясь с ноги на ногу и не знает даже, что делать и что сказать. Если мне когда-нибудь, по воле Божьей, придется

царствовать – чего я, впрочем, вовсе не желаю, – то мне будет нужен сильный и решительный друг и помощник. Вот хоть бы такой, например, человек, как фельдмаршал Миних, а то куда годится принц? Я сознаю сама очень хорошо, что у меня нет ни отважности, ни твердой воли, ни настойчивости; какой же может быть для меня поддержкой принц Антон? Он никогда ничем не сумеет распорядиться и уступит каждому, кто только пригрозит ему. И как униженно держит он себя не только перед императрицей, но и пред герцогом! При каждом приходе герцога он вскакивает с места и не осмеливается сесть, пока тот ему не позволит. Какой он для меня муж? Он в случае надобности не сумеет защитить не только свою жену, но и самого себя...

– Но кто же не боится императрицы и герцога? – заметила Юлиана, и на лице этой пригожей смуглянки появилась лукавая улыбка. – Ты сама дрожишь, когда герцог неожиданно является сюда.

– Это правда, но я женщина, и мне это позволительно. Поэтому-то мне и нужна подмога. Да ты сама, Юлиана, сколько раз ободряла меня, и разве под твоим влиянием я оставалась такой тихой и равнодушной, какой бываю обыкновенно? Мне нужен муж, который поддерживал бы меня, когда у меня недостает твердости, а при такой поддержке я была бы способна решиться на все. Мне часто кажется, что если бы около меня был человек, которого бы я любила и уважала и в ум и мужество которого я верила бы, то никакая беда, никакая опасность не испугали бы меня.

– Однако нельзя же назвать принца трусом, – не без насмешливого, впрочем, тона заметила Юлиана. – Ведь фельдмаршал Миних во время своих походов не раз доносил императрице о его храбрости, за что принц и получил большие награды.

– О, Миних очень хитер: он знал, что такие донесения будут приятны императрице, а она, в свою очередь, рада была хоть чем-нибудь поднять при дворе этого ничтожного человека. Лживым похвалам верить не следует. Вот посмотри, что, например, пишут о принце в газетах. – Говоря это, Анна Леопольдовна выдвинула ящик рабочего своего столика и, достав оттуда номер «Петербургских ведомостей», подала его Юлиане. – Прочти вслух, – сказала она своей подруге.

Юлиана прочла следующее: «Светлейший государь, князь герцог Брауншвейгский и Лüneбургский не токмо от славного уже давно цесарскими и королевскими коронами произошел дома, но и собственными великими свойствами любовь всего российского народа себе получил, а притом во всех разных кампаниях, случившихся акциях, жизнь свою за честь и благополучие ее империи крайней подвергнув опасности, через свою храбрость бессмертную себе приобрел славу».

– Разве это не бесстыдная ложь! – вскрикнула принцесса, топнув ногой.

– А знаешь, – перебила Юлиана, – я давно собиралась тебе передать кое-что, но только боялась, что рассержу тебя, заговорив с тобой о принце Антоне, но так как теперь у нас уже зашла о нем речь, то я тебе скажу, кстати, вот что: при дворе толкуют, будто бы принц тебе нравится, но ты только притворялась и нарочно показывала к нему отвращение, чтобы обмануть герцога и дать ему повод подумать о том, нельзя ли будет ему женить на тебе своего сына? Ты, говорят, делала это только с тем, чтобы иметь после случай досадить герцогу оскорбительным для него отказом.

– Ты хорошо знаешь, Юлиана, как я ненавижу герцога, – сказала принцесса, и ее обыкновенно спокойное лицо оживилось вдруг гневным выражением, – но должна знать и то, что мне никогда в голову не придут такие хитрые затеи. Мне принц просто-напросто противен, но когда герцог задумал сватать меня через Чернышеву за своего сына, этого негодяя мальчишку, то я наотрез, но без всякого умысла досадила герцогу, сказала этой непрошеной свахе, что лучше пойду на плаху, чем под венец с принцем Петром, и что я ни в каком случае не приму этого неприличного предложения. Когда же после этого заговорила со мною о том же самом государыня и затем предложила мне выбрать в мужья или принца Петра, или принца Антона,

то я, не думая тогда вовсе о герцоге, а от чистого сердца, сказала ей, что если мне уж непременно приходится выбирать одного из этих женихов, то я предпочту последнего, потому что он в совершенных летах и происходит из старого владельного дома.

– Да, сын Бирона хоть и наследный принц Курляндский, но все-таки не пара тебе, принцессе Мекленбургской, внучке русского царя и... и... быть может, будущей русской императрице... – шепотом и с расстановкой договорила Менгден.

– Поверь мне, дорогая моя Юлиана, что меня нисколько не прельщает ожидающее меня величие; напротив, оно только пугает меня. Как часто думаю я, зачем Господь предназначил мне такой необыкновенный, высокий жребий. Не лучше ли было бы мне остаться навсегда в моем родном маленьком городке? Мне всегда кажется, что я была бы гораздо счастливее в более скромной доле. Какая, однако, превратность в моей судьбе: привезли меня трехлетним ребенком сюда из чужа; я оставила веру, в которой родилась; почти забыла мой родной язык; меня не только разлучили с моим отцом, но и постоянно старались и стараются внушить мне, чтобы я ненавидела его, твердя, что он был мучителем моей матери. Не проходит дня, чтобы императрица не бранила его при мне и не выставляла бы его каким-то диким зверем. А покойница матушка разве любила и баловала меня?... Нет, Юлиана, тяжело, тяжело всегда жилось мне.

Анна Леопольдовна судорожно схватилась за голову, опустилась на кресло и, закрыв лицо руками, громко зарыдала. Бойкая и словоохотливая подруга принцессы хотела было развлечь ее своей веселой болтовней, но принцесса упорно молчала, неподвижно оставаясь в прежнем положении.

Юлиана, слишком хорошо знавшая принцессу, не без удивления смотрела теперь на нее, так как ей ни разу не приходилось еще видеть Анну Леопольдовну, обыкновенно спокойную и равнодушную, в припадке такого сильного раздражения.

В это время кто-то тихонько постучался в дверь.

– Войди, – сказала Менгден.

Явился камердинер принцессы и доложил, что Артемий Петрович Волынский просит позволения видеть ее высочество.

Принцесса кивнула головой в знак согласия.

Тихими, мерными шагами приблизился Волынский к принцессе. Она протянула ему свою маленькую белую руку, которую он почтительно поцеловал, низко поклонившись перед принцессой, и затем отдал глубокий поклон Юлиане.

– Я осмелился явиться к вашему высочеству, дабы спросить вас, не благоугодно ли будет вам отдать мне каких-нибудь особых приказаний по случаю охоты, назначаемой ее императорским величеством?

– Ты знаешь, Артемий Петрович, что я не люблю никаких забав и если где-нибудь бываю, то всегда только поневоле.

– Очень хорошо знаю, ваше высочество, тем не менее... Но отчего вы, ваше высочество, изволите быть так сегодня недовольны? – спросил Волынский принцессу голосом, в котором слышалось непритворное участие.

– Это вы, проклятые министры, – вскрикнула запальчиво принцесса, вскочив с кресел, – это вы довели меня, по вашим расчетам, до того, что я выхожу теперь замуж за того, за кого прежде не думала выходить.

– Принимаю смелость доложить вашему высочеству, что насчет окончательного решения о браке вашем с его светлостью принцем Антоном ничего не знал ни я, ни князь Черкасский... – при этом Волынский искоса взглянул на Менгден, как бы давая знать принцессе, что он стесняется присутствием ее подруги.

– Не бойся, говори при ней все, Артемий Петрович; у меня от нее нет никаких тайн...

– Я несколько не виноват, – начал Волинский, – в том, что делают с вами, ваше высочество. Во всем этом воля всемилостивейшей государыни, которой мы по природному нашему рабству должны покоряться, а если из министров кто и виноват, то разве один только Остерман... Впрочем, – добавил успокоительным голосом Волинский, – вашему высочеству нет особой причины так горестно кручиниться...

– Как нет? я терпеть не могу принца Антона: он весьма тих и в поступках не смел, – перебила Анна Леопольдовна.

– Хотя, действительно, в его светлости, – заметил Волинский, – и есть кое-какие недостатки, то, напротив того, в вашем высочестве есть довольные благодарования, и для того можете те недостатки снабжать и предупреждать своим благоразумием. Если же принц тих, то вам же лучше, потому что он в советах и в прочем будет вам послушен. Снесите, ваше высочество, терпеливо вашу судьбу, ибо в том состоит ваш разум и ваша честь.

– Ты умеешь красно говорить, Артемий Петрович, иногда словно по книге; но от твоих слов мне все-таки не легче. Да и кроме замужества, разве мало приходится мне терпеть? Ты знаешь, что я говорю теперь с тобою, а сама все боюсь, не подглядывают ли за мной, не подслушивают ли меня...

– Вот именно относительно этого я и желал предостеречь ваше высочество.

– Опять что-нибудь натолковали государыне? – раздраженным голосом спросила принцесса.

– Это не новость, – равнодушно заметила Юлиана, – пора бы вашему высочеству привыкнуть ко всем вздорным сплетням и не волноваться. Вы ближе всех к государыне, и вам ни в каком случае не следует никого и ничего опасаться...

– Я хотел доложить вам, – сказал шепотом Волинский, – что ваш обер-гофмаршал граф Миних лежит на ухе герцога и теперь внушает ему, что граф Линар...

– Граф Линар? – с живостью перебила принцесса, и яркая краска покрыла ее бледные щеки...

– Он недавно овдовел, – произнес Волинский, давая время оправиться принцессе и желая подготовить ее к слишком щекотливому разговору.

– Ведь он был женат на графине Флемминг? – вмешалась с той же целью догадливая Юлиана, – он не привозил жену в Петербург. Она, кажется, была дочь того министра, который воровал всем и в Саксонии, и в Польше.

– Кажется, что так, милостивая государыня, – отвечал Волинский, обращаясь к Менгден.

Принцесса между тем успела одолеть свое смущение и, пристально смотря в лицо Волинскому, довольно спокойно спросила:

– Ну, что же граф Линар?..

– Он на днях прислал письмо к герцогу, в котором предупреждает его о злых замыслах принца Антона против его светлости. Он, должно быть, думает, что такими внушениями если не расстроить, то, по крайности, замедлить ваш брак с принцем, а граф Миних позволил себе высказать догадку, не делается ли сие с вашего соизволения, и вызвался наблюдать за вашим высочеством...

– Что же герцог? – спросила Анна Леопольдовна.

– Показал письмо с хохотом графу Остерману и – прошу извинения за смелость моих слов – назвал его светлость принца глупым мальчишкой, грозясь, что при первом же случае публично надерет ему уши...

– И принц снесет это... непременно снесет, – сказала Анна, ударив с сердцем по столу рукою.

– Но что же делать с герцогом? – заметила, пожав плечами, Юлиана и вопросительно взглянув на Анну Леопольдовну.

– И как не стыдно вам, русским, переносить такое унижение от герцога? – проговорила насмешливо принцесса, окинув презрительным взглядом Волынского.

Наступила минута глубокого молчания. Волынский призадумался... Жестоким укором отозвались в его сердце слова принцессы; кровь хлынула ему в лицо, оно все побагровело. Волынскому и стыдно, и больно стало, что даже такая слабая, нерешительная женщина, какой слыла принцесса, может укорять его за унижение перед проходимцем, – его, русского вельможу, потомка древних бояр и знаменитых военачальников московских.

– Кто знает, ваше высочество, – заговорил как бы пророческим голосом, гордо вскинув свою голову, Волынский, – кто знает: не придет ли когда-нибудь день, – и быть может, уже близок он, – когда Волынский искупит свои тяжкие грехи перед Богом и отечеством, когда он покажет, как... – От сильного волнения Волынский не мог говорить более.

Анна Леопольдовна с удивлением взглянула на него.

– Прощайте, ваше высочество... Вы дали мне урок, которого я никогда не забуду, – проговорил расстроенный Волынский.

– Прощай, до свидания, Артемий Петрович, – сказала ему ласково принцесса, подавая руку, которую Волынский поцеловал почтительно и крепко.

Это было последнее непубличное свидание его с принцессой. Спустя немного времени, умная и горячая голова Волынского соскочила с плеч под ударом топора; но перед казнью он на дыбе давал показания о своем свидании с принцессой, и показания эти сохранились для истории в кровавых летописях тайной канцелярии.

VI

Летом 1739 года стали поговаривать в Петербурге о браке Анны Леопольдовны. Говорили, впрочем, об этом не без некоторой опаски, оглядываясь по сторонам из боязни, чтобы неожиданно не подвернулся какой-нибудь шпион или просто какой-нибудь негодяй, который, заслышав упоминание о царской семье, готов будет крикнуть «слово и дело». Приготовления к свадьбе принцессы делались большие, и с лишком год работали только над экипажами и одеждой прислуги придворного ведомства, для того чтобы придать празднеству великолепную обстановку. Императрица Анна Иоановна как будто в последний раз готовилась показать во всем блеске роскошь и великолепие своего двора.

После долгих откладываний было наконец решено повенчать принцессу с принцем Антоном, и оставалось только уладить обряд сватовства. Но пока успели согласиться насчет этого, немало попортилось крови и желчи как у графа Остермана, так и у будущего свата со стороны принца, маркиза Ботта ди Адорно, а также немало досады учинено было и всемилостивейшей государыне.

Упомянутый маркиз Ботта ди Адорно был посланником римско-немецкого императора при петербургском дворе, а потому условлено было, что он только на три дня примет звание чрезвычайного посла для того, чтобы просить руки принцессы Анны для принца Антона, племянника императора по его жене. Должно было, однако, для поддержания достоинства русского двора, вести дело таким образом, будто бы маркиз Ботта нарочно приехал из Вены только для исполнения этого чрезвычайного поручения. Думали, думали и наконец нашли, что в настоящем случае всего удобнее будет заменить Вену Александро-Невской лаврой. Туда на ночлег к монахам в субботу, 29-го июня, и отправился маркиз Ботта, и оттуда, в воскресенье утром, как будто приехав прямо из Вены, он имел торжественный въезд в Петербург, а в понедельник была назначена ему аудиенция у императрицы для формального сватовства.

Сватовство это происходило с большой торжественностью в присутствии всего двора. После длинной речи, сказанной послом императрице, великий канцлер граф Головкин и князь Черкасский ввели принцессу в аудиенц-залу, и когда принцесса, расстроенная и бледная, стала перед императрицей, то последняя объявила, что дала свое согласие на брак своей племянницы с принцем Антоном Брауншвейгским.

Слова эти были роковым приговором для Анны. Она с плачем бросилась на шею тетке. Заливаясь слезами и сильно дрожа, крепко прижалась к ней. Несмотря на это, императрица некоторое время сохраняла холодный, важный вид; но наконец и она не выдержала: из глаз Анны Иоановны выступили слезы, и она с заметной нежностью стала целовать свою племянницу. Несколько минут длилась эта сцена, не особенно, впрочем, поразившая своей неожиданностью придворных, знавших уже давно недружелюбные отношения невесты к жениху. Затем императрица, слегка отстранив от себя Анну, явилась снова перед присутствующими недоступной, по-видимому, ни жалости, ни состраданию. Начались поздравительные речи посла, обращенные сперва к императрице, а потом к принцессе. Печально склонив голову, Анна вовсе не слушала напыщенного красноречия маркиза и, казалось, совершенно бессознательно исполняла все, что требовал от нее этикет и последовавший за помолвкой обряд обручения. Быть может, в это время в мыслях ее мелькал пленительный облик Линара, и сравнение с ним принца еще сильнее волновало ее.

Обручение кончилось. Цесаревна Елизавета первая подошла к принцессе, чтобы поздравить ее, и громко заплакала. Императрица взяла за руку Елизавету и отвела ее в сторону. Закрыв лицо платком, цесаревна продолжала рыдать, и слезы ее в эти минуты могли быть непритворны: сама Елизавета могла любить только без принуждения. Она высоко ценила сво-

боду женщины и, забывая на этот раз в принцессе Анне свою соперницу по русской короне, искренне жалела о ней, как о девушке, приневоленной к браку.

Начались церемониальные поздравления. Жених, пышно разодетый в светлый шелковый кафтан, великолепно расшитый золотом, с волосами льняного цвета, завитыми в крупные локоны, распущенные по плечам, стоял подле невесты. Он пытался утешить свою невесту, хотел было взять ее за руку, но принцесса быстро вырвала ее и гневно посмотрела на растерявшегося принца, который в эту минуту представлял из себя и жалкую и смешную фигуру.

По окончании поздравлений государыня удалилась в свои покои, а собрание разъехалось по домам, чтобы готовиться к свадьбе.

В среду, 3-го июля, ранним утром со стен Петропавловской крепости и валов Адмиралтейства пушечные выстрелы возвестили жителям Петербурга о имеющем быть в этот день браке принцессы Анны Леопольдовны с принцем Антоном. Толпы народа со всех сторон повалили по улицам города, пустым и тихим в обыкновенное время. Старые и малые, мужчины и женщины спешили занять более удобные места на всем протяжении от дворца до Казанского собора, где должно было совершиться бракосочетание. Принца перевезли в собор спозаранку, без всякой, впрочем, пышности, которой должен был отличаться поезд невесты. Казанский собор, только что отстроенный в ту пору на сумму, пожертвованную императрицей, находился на том же месте, где и нынешний. Он считался придворной церковью, но был невелик и чрезвычайно невзрачен; на одном конце этого продолговатого строения, не отличавшегося ничем от обыкновенного одноэтажного каменного дома, была поставлена прямая четырехсторонняя колокольня в виде каланчи, с небольшой остроконечной крышей. На соборе не было еще купола и никаких архитектурных украшений.

Между тем процессия от Зимнего дворца шла набережной к Летнему дворцу и оттуда по Большой улице через Зеленый мост на Невскую перспективу. От Летнего дворца до церкви по обеим сторонам дороги, по которой двигалась процессия, стояла вся гвардия и напоольные полки с неумолкаемой музыкой.

– Едут! Едут! – загудело вдруг в толпе, смыкавшейся все плотнее и плотнее и сдерживаемой в порядке полицейскими драгунами.

Среди этих возгласов показались прежде всего великолепные кареты знатных персон. Впереди каждой кареты шло по десяти ливрейных лакеев, а при некоторых каретах, кроме лакеев, были скороходы и ряженные, на показ и на потеху народу. Тут мелькали и негры, и испанцы, и турки, и самоеды, и пр., и пр.

За тянувшимися длинной вереницей каретами знатных персон следовала карета принца Карла, младшего сына герцога Курляндского, предшествуемая двенадцатью лакеями, четырьмя скороходами, двумя гайдуками и двумя дворянами, ехавшими верхом. При такой же обстановке ехал следом и старший сын герцога Петр – жених, отвергнутый принцессой Анной.

– Глядь! Глядь! – вдруг крикнул какой-то мальчуган своему товарищу, показывая пальцем на раззолоченную карету, – вишь ты, какие звери и птицы намалеваны... Важные какие!

Действительно, на дверцах приближавшейся кареты виднелся громадный герб, а в нем под княжеской шапкой и герцогской мантией в большом щите были изображены золотые львы и серебряные олени – гербы Курляндии и Семигалии. В малом же щите герба был черный ворон, сидящий на пне с зеленой веткой, – это был родовой герб Биронов. Вверху этого щита виднелся в золотом поле вылетающий до половины русский двуглавый орел, прибавленный в герб Бирона императрицей в знак особенного ее благоволения к герцогу, а в другой боковой части маленького щита была буква А, в память короля польского Августа III, признавшего Бирона герцогом Курляндским. Сквозь букву А, украшенную королевской короной, был продет золотой ключ, знак обер-камергерского звания, которое Бирон удержал за собой, сделавшись даже владетельным герцогом.

Пока мальчуганы зазевывались на львов, оленей, ворона и орла, прочие зрители не без страха и не без ненависти посматривали на того, кто ехал в этой великолепной карете. Насупись, неподвижно сидел в ней герцог Курляндский, блиставший алмазами и золотом. Герцогу предшествовали двадцать четыре лакея, восемь скороходов, четыре гайдука и столько же пажей. Все они шли пешком. Кроме них перед каретой герцога ехали верхами его шталмейстер, маршал и два камергера, из которых за каждым следовало несколько ливрейных слуг.

Каретой герцога как бы замыкался отдельный поезд его самого и его сыновей. На некоторое время произошел перерыв церемонии, и толпа, в ожидании дальнейшего зрелища, принялась толковать и пересуживать. Крики, визги и брань стояли над нею. Но вот со стороны дворца раздались громкие, как будто радостные, возгласы; послышался раскат пушечного выстрела, и в заколыхавшейся толпе заходил говор: «С а м а е д е т!»

Теперь перед глазами зрителей стали последовательно двигаться сорок восемь слуг, двадцать четыре пажа с их наставником, бывшим на коне, камергеры верхами, каждого из них сопровождал скороход, державший в поводу лошадь, и два конных лакея с подручными лошадьми; дворяне верхом, тоже в сопровождении скороходов и ливрейных слуг с подручными лошадьми; обер-шталмейстер с огромным конюшенным штатом, егермейстер со всей придворной охотой; унтер-маршал и обер-гофмаршал с жезлом. Яркие цвета, серебро и золото рябили и резали глаза толпы.

Но вот и экипаж императрицы – раскинутая на две половины карета, ослепительно блиставшая при ярком летнем солнце густой позолотой, запряженная восемью белыми конями в золотой упряжи и с пучками белых страусовых перьев над их головами. Толпа ахнула.

На первом месте, на заднем сиденье кареты, сидела императрица, напротив нее – невеста.

Сановитая фигура Анны Иоановны как нельзя более подходила издали для торжественных церемоний. В ней, казалось, воплощалось могущество женщины, которая легко могла носить тяжелую шапку Мономаха. Величаво и самоуверенно посматривала Анна на покорную перед ней толпу и по временам легким наклоном головы удостоивала ответить на приветственные клики своих верноподданных. Но если представительная наружность Анны Иоановны производила сильное впечатление на толпу, то на этот раз императрица не поражала зрителей особенным великолепием своего убранства: никаких драгоценных камней не сияло на ней; они были заменены одним только жемчугом, резко выдававшимся своей белизной на темном фоне и золотом шитье ее робы.

Совершенную противоположность императрице представляла невеста. Грустная, как будто бессильная и беспомощная, сидела она, потупив задумчивые глаза. Казалось, она не видела и не слышала ничего, что делалось около нее. Но зато как ослепителен был ее подвенечный наряд! На ней было платье из блестящей серебряной ткани; завитые волосы были разделены на четыре косы, перевитые бриллиантовыми нитями; на голове у нее была небольшая корона, осыпанная бриллиантами, и, кроме того, множество бриллиантов было укреплено в черных, не напудренных на этот раз волосах. От блеска драгоценных камней лицо ее, казалось, было окружено каким-то радужным сиянием.

Толпа, глядя на невесту, только дивилась и ахала.

После проезда императрицы остальная часть поезда, в которой находились цесаревна Елизавета, герцогиня Курляндская и супруги знатных персон, по своей относительной пышности не бросалась уже в глаза толпы, которая теперь стремительным потоком хлынула к Казанскому собору, чтобы дожидаться окончания брачной церемонии, которую совершал архиепископ вологодский Амвросий.

Пушечные залпы с крепости и Адмиралтейства, а также из орудий, поставленных на площади перед собором, и беглый ружейный огонь войск возвестили окончание брачного обряда.

Дождавшиеся окончания церемонии увидели ту же самую процессию, какую видели прежде, с той только разницей, что новобрачные сидели теперь в одной карете с императри-

цей, напротив нее, и можно было заметить, что молодая, убитая горем, не обращала никакого внимания на своего супруга.

Во дворце принесены были поздравления государыне и принцессе сперва знатными лицами, потом иностранными министрами, а затем и всеми присутствовавшими. Императрица в этот день обедала за особым столом, за которым кроме нее сидели только новобрачные и цесаревна Елизавета. После обеда все присутствовавшие при торжестве вернулись домой чрезвычайно утомленные, так как торжество началось с 9 часов утра, а обед кончился только около 8 часов вечера.

VII

Свадьба принцессы Анны Леопольдовны сопровождалась блестящими празднествами. В самый день брака был при дворе бал, начавшийся в 10 часов и окончившийся около полуночи. После бала императрица повела молодую в ее комнату. При этом за государыней должны были следовать только немногие заранее назначенные ею лица: герцогиня Курляндская, две придворные русские дамы и жены министров, уполномоченных от иностранных государей, состоявших в родстве с принцем Антоном. Войдя в уборную молодой, императрица приказала герцогине и знакомой уже нам леди Рондо раздеть принцессу. Дамы сняли с молодой тяжелый и пышный наряд и надели на нее капот из белого атласа, отделанный великолепными брюссельскими кружевами. После этого императрица поручила герцогине и леди Рондо пригласить к принцессе ее мужа, который и явился переодетый уже в домашнее платье, сопровождаемый одним только герцогом Курляндским. Когда принц вошел в уборную, императрица поцеловала его и племянницу, пожелала им счастья и, сделав им наставление, чтобы они жили между собою дружно и мирно, весьма нежно распрощалась с ними и отправилась в Летний дворец.

В среду императрица дала в этом дворце ужин в честь молодых. На этом собрании дамы поражали великолепием своих нарядов, в особенности же новобрачная, на которой было платье из золотой ткани, с выпуклыми по ней цветами, отделанное пурпуровой бахромой; из такой же золотой ткани был сшит и костюм принца Антона. Молодые, цесаревна Елизавета и семейство герцога Курляндского сидели во время ужина за особым столом, а императрица, прохаживаясь по зале, освежавшейся устроенным в ней фонтаном, подходила к гостям и приветливо разговаривала с ними. Ужин отличался изысканностью и обилием яств, а также поразительной роскошью обстановки.

– Уж больно утомилась я, – говорила императрица окружающим ее лицам. – Надобно и мне самой отдохнуть, да и другим дать покой. – И по воле государыни днем всеобщего отдыха был назначен четверг.

Более всех, несмотря на свою молодость, истомилась Анна Леопольдовна; для нее, нелюдимки по природе и выросшей в уединении, многочисленное общество всегда было в тягость. Теперь же такая тягость чувствовалась еще сильнее. Для нее невыносимо было являться при всех торжествах на первом плане, привлекать к себе любопытные взгляды всех присутствовавших и выслушивать льстивые поздравления с таким событием в ее жизни, которое она считала вечным для себя несчастьем. Но делать было нечего – приходилось веселиться поневоле или, по крайней мере, хоть показывать веселый вид. С глубоко затаенным в душе желанием – встретить хоть в ком-нибудь выражение участия к своей печальной судьбе – посматривала вокруг себя новобрачная принцесса, но на лицах, окружавших ее, она встречала только радостные, приторные улыбки, еще более раздражавшие ее. Только однажды в толпе гостей заметила она задумчиво смотревшего на нее какого-то молодого человека, и ей показалось, что только один он в этой веселой и шумной толпе, блиставшей и бриллиантами, и золотом, и серебром и разодетой в шелк, бархат и кружева, сочувствует ей, понимает гнетущее ее горе. Теперь с Анной Леопольдовной случилось то, что часто бывает и с другими: иногда незнакомые между собой люди, встретившиеся первый раз и не обменявшиеся еще друг с другом ни одним словом, как будто понимают друг друга и чувствуют какое-то невольное влечение один к другому. Такое чувство испытывала теперь на себе Анна Леопольдовна: ей казалось, что задумчивость молодого незнакомца ей еще человека происходила под впечатлением того, что он видел, а ласковый его взгляд, внимательно и как-то заботливо следивший за принцессой, убеждал ее в справедливости такой догадки. Она нарочно прошла мимо него и приветливо взглянула на него. Он заметно смешался, выронил из рук свою треугольную шляпу и, поспешно схватив ее с полу, скрылся в толпе, не решаясь уже показаться в этот вечер на глаза принцессе.

Замеченный Анной Леопольдовной придворный кавалер не произвел, впрочем, на нее никакого впечатления своей не отличавшейся ничем наружностью; он обратил на себя ее внимание потому только, что, как показалось ей, понимал ее тяжелое положение и должен был в душе сочувствовать ее страданиям. Принцесса в настоящем случае не обманывалась: этот молодой человек был страстный поклонник ее, как женщины, и радостно ожидал того дня, когда, быть может, императорская корона засияет на ее голове.

Отдохнув один день, двор снова принялся веселиться, и в пятницу, после полудня, в залах Зимнего дворца открылся придворный маскарад. Несмотря на летнюю пору, когда так легко было устроить настоящий сельский праздник, императрица желала видеть такой праздник в стенах своего дворца, и потому в длинной его галерее было устроено что-то вроде луга со столами и скамейками, покрытыми цветами. Главной же особенностью этого маскарада были четыре кадрили; из них каждая была составлена из двенадцати пар. В первой кадрили явились новобрачные. Как они, так и прочие, участницы и участники в этой кадрили одеты были в домино оранжевого цвета с маленькими такого же цвета шапочками на головах, с серебряными кокардами и с небольшими воротничками из кружев, завязанными лентой, вытканной из серебра. В составе этой кадрили находились со своими супругами те иностранные министры, государи которых были в родстве с принцем или с принцессой.

Во главе второй кадрили были цесаревна Елизавета и принц Петр Курляндский в зеленых домино с золотыми кокардами и все участвовавшие в этой кадрили были одеты так же, как принцесса и принц. Предводителями третьей кадрили были герцогиня Курляндская и Салтыков, родственник императрицы. Кадриль эта имела голубые домино с розовыми кокардами, и наконец, участвовавшие в четвертой кадрили, – во главе которой явились принцесса Гедвига, дочь герцога Курляндского, и его второй сын принц Карл, – были одеты в домино красного цвета, с зелено-серебряными кокардами. Маскарад окончился роскошным ужином. Императрица не была замаскирована и, как внимательная хозяйка, прохаживалась целый вечер между гостями, обращаясь к ним то с ласковым словом, то с благосклонной шуткой. На всех придворных собраниях принц Антон-Ульрих, несмотря на свое новое, упроченное уже положение, вследствие брака с племянницей императрицы, по-прежнему представлял из себя ничтожную личность: он заметно терялся не только при обращении к нему государыни, но и при приближении герцога. С плохо скрываемой досадой смотрела Анна Леопольдовна на своего робкого и неловкого супруга, и в обидную для него противоположность в воображении принцессы являлся блестящий граф Линар, изящный, находчивый, со смелым взглядом, твердой поступью и мужественной осанкой.

При бракосочетании Анны Леопольдовны не было соблюдено обычаев, сопровождавших еще в ту пору свадьбы даже в домах знатных русских семейств, и в народе ходил говор, что от такой не по-русски справленной свадьбы ждать добра нечего. Исполнен был только один старинный обычай, а именно: когда в субботу государыня обедала в покоях новобрачной, то молодые прислуживали ей за столом как самой почетной гостье. После обеда было оперное представление в дворцовом театре.

Ряд празднеств окончился маскарадом в саду Летнего дворца. Сад был красиво иллюминирован, и в заключение торжества на берегу Фонтанки был сожжен великолепный фейерверк, состоявший из множества бомб, ракет и прочих увеселительных огней, а также из вензелей с аллегорическими изображениями, подходившими к тому случаю, для которого он был приготовлен. В течение целой недели на Неве стояли яхты, пестро разукрашенные флагами, которые с наступлением темноты заменялись разноцветными фонарями. Для народа перед дворцом были устроены фонтаны из белого и красного вина, а также были выставлены жареные быки и разные другие яства. Сама императрица бросала с балкона в толпу пригоршни серебряных денег.

Сохранилось до нашего времени известие о том впечатлении, какое должны были производить на посторонних и невольный брак Анны Леопольдовны, и происходившие по поводу этого блестящие, шумные торжества. «Все это делалось, – писала леди Рондо своей приятельнице в Лондоне, – для того, чтобы соединить двух особ, которые, как я убеждена, искренне ненавидят друг друга; думаю, что это можно сказать с уверенностью, по крайней мере, насчет принцессы: она явно и резко выказывала это в продолжение всех праздников, бывших в течение недели».

Молодая чета поселилась на постоянное житье в одном дворце с императрицей, но на одной половине, обращенной окнами на нынешнюю Александровскую площадь. Сравнительно с прежним Анна Леопольдовна не пользовалась большей свободой. Причиной этого был, впрочем, не супруг принцессы, в глазах которой он не имел решительно никакого значения, но подозрительность императрицы и герцога держала молодых в отчуждении от общества. Впрочем, и сама Анна не искала никаких развлечений. Она желала прежде всего уединения, ограничивая свое общество небольшим кружком близких к ней лиц, и постоянной, а вместе с тем и более всех любимой собеседницей была по-прежнему Юлиана Менгден, приобретающая над нею все более и более влияния и употреблявшая его не в пользу принца.

Двор принцессы и принца был составлен из немногих лиц, в число которых вскоре после свадьбы был назначен в должность адъютанта и тот молодой человек, которого однажды заметила принцесса и которого она считала своим доброжелателем. Новый адъютант принца назывался Грамотин; он считался серьезным и деловым человеком, почему и заведовал канцелярией своего начальника. Теперь Анне Леопольдовне часто приходилось встречаться с ним, когда он являлся с докладом к принцу. Но первое впечатление, произведенное на нее Грамотиным, несколько изгладилось; принцесса относилась к нему без особого благоволения, заметив в нем особенное старание угождать принцу и заискивать его благосклонность. Вскоре принцесса дошла до того, что перестала обращать на Грамотина внимание, а между тем он все сильнее и сильнее влюблялся в нее, мечтая о том, что, быть может, придет пора, когда ему представится случай пожертвовать для нее своей жизнью.

Молодая чета жила очень не ладно между собою, и, по всей вероятности, неприязненное расположение Анны Леопольдовны к мужу выражалось бы еще резче, если бы только ее не сдерживала тетка, которая постоянно вмешивалась в их супружеские раздоры и, ввиду покорности принца – качества, признаваемого со стороны императрицы одной из главных добродетелей, – принимала обыкновенно его сторону, жуя принцессу и внушая ей уступчивость мужу. Принц находил, впрочем, для себя поддержку и с другой еще стороны. Венский двор вскоре после его брака с принцессой Анной начал сильно настаивать, чтобы новобрачный «в уважение теперешнего его родства и огромных способностей» получил право заседать в Кабинете и в военной коллегии. Такое требование чрезвычайно сердило герцога Курляндского, относившегося к принцу с крайним пренебрежением.

Однажды герцог, проводивший часть лета во дворце, находившемся в Летнем саду, прогуливался по аллеям этого сада, и при повороте на одной из них он встретил секретаря саксонского посольства Пецольта. Герцог пригласил его пройти по саду вдвоем. После разговора о том о сем зашла между герцогом и дипломатом речь о политических делах и коснулась между прочим покровительства, оказываемого венским двором принцу Антону.

– Венский двор, – заговорил раздраженным голосом герцог, давая полную волю своему вспыльчивому нраву, – считает здесь себя как дома и думает управлять делами в Петербурге, но он сильно ошибается! Если же в Вене такого мнения, что у принца Брауншвейгского прекрасные способности, то я готов уговорить императрицу, чтобы принца совсем передать венскому двору и послать его туда, так как там настоятельно надобность в подобных мудрых министрах.

Пецольт, как тонкий дипломат, приятно улыбался в угоду герцогу, поощряя тем самым его расхажившее остроумие.

– Каждому известен принц Антон-Ульрих, – продолжал язвительно герцог, – как человек самого посредственного ума, и если его дали в мужья принцессе Анне, то при этом не имели и не могли иметь другого намерения, кроме того, чтобы он производил на свет детей, но и на это он не столько умен – принцесса до сих пор держит его от себя в почтительном отдалении. Если же у него будут дети, – добавил герцог – то надобно только желать, чтобы они не были похожи на него.

Говоря эти колкости насчет принца Антона, герцог в некотором отношении был прав. Императрица долго ожидала рождения своего наследника, так как Анна Леопольдовна только в августе 1740 года родила принца, нареченного при крещении Иоаном; в известительном манифесте об его рождении новорожденному не было придано отчества, как будто он даже и не считался сыном принца Антона.

Анна Иоановна, несмотря на суровость своего характера, выказывала к новорожденному Иванушке особенную нежность. Тотчас после рождения принц был перенесен в собственные покои государыни и был там оставлен под попечительным ее надзором. Она заботливо навещала его во всякое время дня; пеленали и распеленывали его не иначе, как только в присутствии герцогини Курляндской, принявшей на себя заботы о новорожденном, между тем как Анна Леопольдовна была устранена от всякого за ним ухода. По случаю рождения принца слышался всюду торжественный грохот пушек, раздавался колокольный звон, и храмы оглашались молебным пением об его благоденствии и многолети.

VIII

Еще весной 1740 года стала разноситься в Петербурге молва о том, что здоровье государыни слишком ненадежно. Говорили об этом, впрочем, между собою только близкие друг с другом люди, да и то с большой осторожностью. Между тем лазутчики герцога, Остермана и Ушакова усердно шныряли повсюду: они втирались в дома, забирались в присутственные места и казармы, шлялись по кабакам, рынкам, базарам, баням, гуляньям и харчевням, подслушивая, о чем толкует народ и вызывая сами людей словоохотливых на опасные речи, привлекавшие болтливых на расправу в тайную канцелярию. В числе таких соглядатаев был даже кабинет-секретарь Яковлев, одевавшийся для шпионских прогулок в старый мужицкий кафтан. Впрочем, осторожность, к которой попривыкли уже в Петербурге, не доставляла теперь лазутчикам слишком большой поживы, так что, по-видимому, все обстояло благополучно, но тем не менее в воздухе как будто чуялась близость какой-то перемены. Это было затишье перед бурей.

Лето этого года было превосходное. По своему обыкновению императрица провела его в Петергофе; там она несколько поправилась, но по возвращении к осени в город болезнь ее стала заметно усиливаться, и к прежним недугам прибавилась еще постоянная бессонница.

– Целые ночи напролет глаз не сомкну и мучаюсь, – жаловалась Анна Иоановна и докторам, и приближенным к ней лицам, рассказывая им о своем нездоровье.

Действительно, бессонные ночи были для нее мучительны. Припоминая в это томительное время прошлое, она терзалась, когда приходили ей на мысль казни Долгоруких и Волынского; ей чудились их окровавленные призраки; но тщетно старалась она отогнать от себя страшные грезы. Душевное ее расстройство было чрезвычайно сильно, и совесть напомнила ей немало грехов, принятых ею на душу и ведением, и неведением.

Слухи об упадке сил императрицы, хотя и смутные, безостановочно выходили из дворца и распространялись по городу, а один необыкновенный и загадочный случай подал повод к усиленномуговору о близкой кончине государыни, и даже вовсе не суеверные люди увидели теперь несомненное предзнаменование этого события.

В один из последних дней сентября месяца сильный морской ветер быстро и безостановочно гнал по небу тяжелые, темные тучи. Дождь шел ливнем. Непогода и грязь задерживали жителей Петербурга по домам, и потому к ночи и без того уже неживленные улицы города сделались совершенно пусты. Нева с шумом катила свои черные волны, выступая из берегов с чрезвычайной быстротою, а часто повторявшиеся со стен Петропавловской крепости и с Адмиралтейства пушечные выстрелы – эти предостерегательные сигналы, установленные еще Петром Великим, – оповещали обитателей столицы об опасности, угрожавшей им от наводнения.

В эту ночь едва ли кто-нибудь в Петербурге лег спать. Все ожидали, что, быть может, придется перебираться на вышки и чердаки. В ту пору наводнения в Петербурге, при несуществовании еще Обводного канала и при невозможности отступления воды в подземные трубы, что бывает теперь, происходили чрезвычайно быстро, и Нева, не сдерживаемая еще гранитными берегами, заливала прибрежные местности даже не при сильном морском ветре. При Петре I наводнения были очень часты, но они не только не пугали водолюбивого царя, но даже напротив, забавляли его. Так, он, сообщая в одном из своих писем к князю Меншикову о бывшем в Петербурге наводнении, когда вода в комнатах царского домика доходила до 21 дюйма, а по улицам плавали в лодках, писал: «Зело было потешно, что люди на кровлях и деревьях будто во время потопа сидели, не точию (не только) мужики, но и бабы».

Петербургские жители и жительницы не слишком, однако, были рады предстоящей им теперь подобной ночной потехе и такому не слишком удобному сиденью. Одни из них тоскливо поджидали близких им людей, не вернувшихся еще домой; другие вытаскивали из погребов

съестные запасы, укладывали свои пожитки и начинали переносить их в верхние жилы и на чердаки; третьи готовили лодки и ялики, чтобы перебраться на них в местности города, не залитые еще водою. Когда же среди ночной тьмы и воя бури вдруг, точно молния, вспыхивал на небе красноватый блеск выстрела и следом затем грохотала пушка, то одни набожно крестились, а другие боязливо взглядывали друг на друга, как бы спрашивая, что же будет дальше? Между тем ветер продолжал бушевать с такими сильными порывами, что, казалось, грозил не только вырвать оконные рамы, но и разметать деревянные домишки, из которых тогда состоял почти весь Петербург. С крыш летели сорванные ветром черепицы, доски и железные листы, также сыпались обломки кирпичей от опрокинутых дымовых труб.

В эту пору жильцы тех домов, которые выходили окнами на Адмиралтейскую площадь, были поражены странным зрелищем. В окна этих домов вдруг ударил какой-то мигающий багровый свет, казавшийся отблеском начинавшегося пожара. Тревога еще сильнее овладела увидевшими этот свет: ясно было, что две могучие силы природы – вода и огонь – соединились теперь вместе для беспощадного истребления и людей, и их достояния. Все кинулись к окнам, и тогда изумление глядевших достигло крайних пределов.

Багровый свет выходил из-под арки Адмиралтейства, стоявшей на том же месте, где и нынешняя. В то время здание Адмиралтейства имело такой же средний фасад, как и теперь, с высоким над ним шпилем; оно было окружено валами и рвами, в нем хранились припасы и снаряды морского ведомства, и с сумерек все ворота Адмиралтейства запирались наглухо, так что не было ни входа туда, ни выхода оттуда. Свет под аркой усиливался все более и более, и из растворенных ворот медленно начали выступать факельщики. Выйдя из-под арки, они брали влево ко дворцу; ветер сильно раздувал пламя факелов, и вскоре вся площадь озарилась каким-то зловещим багровым светом.

– Непроглядная тьма бурной сентябрьской ночи не позволяла рассмотреть, что следовало в самом недалеком расстоянии за факельщиками, тянувшимися длинной вереницей. Несомненно, однако, было, что по площади двигалась похоронная процессия. Но кого же могли хоронить так пышно, судя по множеству факелов? Никто из людей известных не умирал в это время в Петербурге, да никто из них и не жил в Адмиралтействе. Притом и похороны ночью не были в обычае.

Несмотря на страшную непогоду, иные выскочили сами на площадь, иные послали прислугу, чтобы узнать, кого хоронят. Бросившиеся опростеть на разведку очутились по колено в воде, залившей площадь; ветер то сшибал их с ног, то крутил их на месте, срывая с голов шляпы и шапки. Если же некоторые, весьма, впрочем, немногие, молодцы и побежали смело вперед, несмотря на все препятствия, то и они не могли догнать процессии: она отдалялась от них по мере их приближения, и они видели только, как факельщики входили в ворота дворца, обращенные на площадь.

После полуночи, часа в два, ветер начал стихать, и вода быстро пошла на убыль. На другой день утром весь город толковал не столько о наводнении, сколько о загадочных похоронах. Рассказывали, что погребальная процессия, войдя в одни ворота дворца, прошла через двор и затем вышла в другие ворота на Неву и, взяв направо, следовала вдоль берега реки, но никто не мог разузнать, где она скрылась, а также никто не имел возможности осведомиться о том, кого хоронили. Рассказывали тоже, будто сама императрица была очевидицей этого явления, которое потрясло ее вконец, так как она признала в нем предвестие своей смерти.

При суеверном настроении умов распространился и другой еще диковинный рассказ. Толковали, будто императрице доложили, что по ночам в тронном зале бывает свет, но что туда в это время без ее разрешения никто войти не смеет. Императрица пожелала сама узнать, в чем дело, и вот однажды ночью, когда свет появился в окнах тронной залы, она, в сопровождении дежурного своего штата и со взводом дворцового караула при заряженных ружьях, отправилась к дверям залы и приказала отворить их. Ужас овладел всеми, когда увидели, что на троне сидит

сама государыня в роскошном одеянии, в порфире и с короною на голове. Императрица, как рассказывали, приказала солдатам сделать общий залп по своему двойнику. Зазвенели разбитые пулями зеркала и оконные стекла, и когда рассеялись клубы порохового дыма, то привидение медленно встало с трона, прошло мимо императрицы и, погрозив ей пальцем, исчезло бесследно в зале, мгновенно охваченной непроницаемым мраком.

Несмотря на развивавшийся все более и более недуг, императрица бодрилась и оставалась на ногах, но 6 октября, когда она садилась за стол, ей сделалось так дурно, что ее без памяти отнесли на постель. Первый медик императрицы, Фишер, сказал тогда герцогу, что это дурной признак и что если болезнь государыни будет усиливаться, то надобно опасаться, что вскоре вся Европа наденет траур. Другой же врач государыни, португалец Антоний Рибейро Санхец, считал болезнь ее ничтожной. Императрица, однако, не доверяла этим придворным врачам и через комнатную свою девушку Авдотью Андрееву тайком советовалась с врачом Леистениусом, который приказал передать императрице, чтобы она насчет своей болезни не имела никакого опасения и принимала бы только красный порошок доктора Шталя, который ей непременно поможет.

По возможности, и теперь старались скрывать действительную опасность, угрожавшую государыне. Хотя знатные особы обоего пола и члены дипломатического корпуса приезжали каждый день во дворец, чтобы согласно этикету того времени осведомиться о здоровье ее величества, но эти посещения имели вид приемов обыкновенных гостей, а не казались приездами лиц, заботившихся узнать о положении больной. Напускная веселость поддерживалась во дворце, и съезжавшиеся туда гости толковали о том о сем, и только вскользь, в неопределенных выражениях, заявлялось им о состоянии здоровья императрицы; бюллетени же не были еще в то время в обычае. Когда же однажды приехал во дворец французский посланник маркиз де ла Шетарди, то обер-гофмаршал, поблагодарив его за внимание, оказываемое государыне, предложил ему развлечься картами с принцем Антоном, который тот же час и устроил партию. Вследствие всего этого о здоровье императрицы ходили самые разноречивые толки, а между тем уже близился час ее кончины.

Томительные дни переживала в это время Анна Леопольдовна: неизвестность бывает почти всегда гораздо мучительнее, нежели какой бы то ни было печальный исход, и это испытывала теперь молодая принцесса.

Не предаваясь властолюбивым замыслам, Анна Леопольдовна тревожно ожидала решительного перелома в своей жизни: она, по воле своей тетки, или могла сделаться самодержавной ее преемницей и затем свести давние счеты со своим притеснителем герцогом Курляндским, или же остаться в прежней тяжелой от него зависимости, потеряв притом единственную свою покровительницу в лице государыни. Ничтожество ее мужа проявилось в это время во всей полноте: он ходил как растерянный и безоговорочно исполнял все, что приказывали ему не только герцог, но и обер-гофмаршал граф Левенвольд. Принцесса волновалась все сильнее и сильнее, смотря на своего робкого, ненаходчивого и бесхарактерного супруга.

Обыкновенно каждый человек мерит и хорошие, и дурные качества другого по своей собственной мерке, и теперь в голове Анны Леопольдовны еще чаще стала мелькать мысль, что жизнь ее могла бы сложиться совершенно иначе, если бы она шла рука об руку с любимым ею, смелым и решительным человеком, и таким человеком казался ей граф Линар. Несколько лет разлуки не изгладили его из памяти принцессы. Она не забывала, что Линар из любви к ней, – в ту пору загнанной и беспомощной девушке, – решался на такие отважные поступки, которые могли навлечь на него страшную беду и расстроить всю его будущность. Ей казалось, что оскорбленная государыня и разгневанный герцог, узнав о тайных его сношениях с Анной, могли самовластно поступить с Линаром так, чтобы он исчез совершенно бесследно в далеком, никому не известном заточении. Все это придавало Линару в глазах молодой, влюбленной в него женщины особенную цену, и как сильно билось сердце при воспоминании о том, кто дал

ей почувствовать первую любовь с ее мечтами и увлечениями! Ей живо припомнились теперь и непринужденное обращение Линара с императрицей, его бойкость и находчивость в придворных собраниях, урывочные, но полные обольщения беседы с ним с глазу на глаз и, наконец, та горделивая неуступчивость перед герцогом, которую не раз выказывал Линар, отвечая на грубые выходки временщика тонкими остроумными колкостями. Анна не забывала, что при дворе один только Линар умел держать герцога, зазнававшегося перед всеми, в таком почтительном положении, что они оба были друг с другом на равной ноге.

– Если бы на месте принца Антона был граф Мориц, то он повел бы дело не так, как этот рохля, – думала Анна Леопольдовна, сравнивая Линара со своим мужем. – Тогда я не только была бы счастлива как женщина, но имела бы около себя надежного защитника от всяких невзгод, – добавляла мысленно Анна.

Линар был, однако, далеко, и принцесса давно уже не имела о нем ни прямых, ни косвенных вестей. Мечты ее о Линаре оставались несбыточными, а между тем действительность представляла для нее мало отрадного.

6-го октября 1740 года определилось несколько будущее положение принцессы Анны Леопольдовны. В этот день сын ее манифестом императрицы был объявлен наследником престола на случай кончины владеющей государыни. Распоряжение это было сделано крайне неохотно, после того ужасного припадка, который возбудил сильные опасения за жизнь Анны Иоановны. Слишком ревнивая к своей власти, она до последней крайности медлила с назначением принца Ивана своим наследником, отзываясь, что «ежели-де его объявить великим князем, то уже всяк будет больше ходить за ним, нежели за нею».

Разумеется, что положение матери царствующего императора должно было бы быть самое блестящее, но теперь корона переходила к младенцу, лежавшему еще в пеленках. Другое лицо должно было править за него государством, и при этом принцесса-мать сталкивалась с опасным соперником – герцогом Курляндским, перед могуществом которого и собственное ее бессилие, и ничтожество ее мужа были слишком очевидны...

IX

Можно было подумать, что во дворце императрицы Анны Иоановны был назначен 17-го октября 1740 года какой-то праздник. В этот день вечером к главному подъезду дворца подъезжали с разных концов города кареты и колымаги, из которых выходили пышно разодетые вельможи. Но слабое освещение дворцовых зал, блиставших обыкновенно во дни празднеств бесчисленными огнями люстр и кен-кетов, господствовавшая во дворце тишина, озабоченные лица съезжавшихся туда вельмож, их перешептывание между собою и осторожная ходьба указывали, что на этот раз вельможи собирались во дворец государыни не на веселое пиршество. И точно, они спешили теперь туда, вследствие извещения их придворными врачами о том, что императрица была при смерти. Собравшиеся в приемной государыни сановники и царедворцы с тревожным ожиданием посматривали на двери, которые через ряд комнат вели в опочивальню государыни, откуда им должна была прийти весть о том, чем решилась судьба империи, а сообразно с этим и участь многих из них, так как, при известной перемене, одни из них могли ожидать для себя нового почета и быстрого возвышения, тогда как другим предстоял при этом не только загон, но, быть может, и совершенное падение с добавкою к нему и конфискации, и дальней ссылки.

Сломленная наконец давнишним и теперь сильно развившимся недугом, лежала на смертном одре Анна Иоановна, сохраняя еще полное сознание. Обширная опочивальня ее тускло освещалась двумя восковыми свечами, прикрытыми зонтом из зеленой тафты, и в этом полумраке в одном из углов комнаты ярко блестели в киоте, от огня лампадки, золотые оклады икон, украшенные алмазами, рубинами, яхонтами, сапфирами и изумрудами. Иконы эти были наследственные благословения, переходившие от одного поколения к другому сперва в боярском, а потом в царском роде Романовых.

У одного из окон царицыной опочивальни стояли два главных врача императрицы, Фишер и Санхец; они вполголоса разговаривали между собой по-латыни, и по выражению их лиц нетрудно было догадаться, что всякая надежда на выздоровление государыни была уже потеряна и что они с минуты на минуту ожидали ее кончины. В соседней со спальней императрицы комнате находился духовник Анны Иоановны, готовый напутствовать умирающую чтением отходной.

Около постели императрицы стояли: убитый горем герцог Курляндский, его жена с красными припухшими от слез глазами и Анна Леопольдовна. Всегда задумчивое и грустное лицо принцессы выражало теперь чувство подавляющей тоски. Опустив вниз сложенные руки и склонив печально голову, она как будто олицетворяла собой и беспомощность, и безнадежность. Казалось, вся она сосредоточилась в самой себе, не обращая никакого внимания на то, что происходило вокруг нее. Резкую противоположность с неподвижностью и сосредоточенностью принцессы представлял ее супруг. Он, беспрестанно переминаясь с ноги на ногу и подергивая по временам вверх плечами, то с каким-то тупым любопытством взглядывал на умирающую, то рассеянно смотрел на потолок и стены комнаты, то кидал недоумевающий взгляд на свою жену. Кроме этих лиц, в опочивальне императрицы находились еще любимая ее камер-юнгфера Юшкова и одна комнатная девушка, безотлучно ходившая за государыней.

Среди тишины, бывшей в опочивальне государыни, послышался за дверью в соседней комнате сдержанный шум тяжелых шагов. Герцог, стоявший около двери, быстро приотворил ее и, делая знак рукой, чтобы приближавшиеся люди приостановились, подошел к императрице и, нагнувшись к ней, спросил тихим голосом, позволит ли она явиться графу Остерману? Анна Иоановна движением головы выразила согласие, и тогда герцог повелительно указал глазами принцу Антону, чтобы он растворил двери. Принц исполнил приказание герцога, и четверо гренадер от дворцового караула внесли в спальню государыни в креслах графа Андрея Ива-

новича Остермана, и она, напрягая свои силы, приказала, чтобы его посадили у изголовья ее постели.

При появлении Остермана находившиеся около императрицы поспешили выйти из комнаты, и из всех бывших там прежде остались теперь герцог, принц и принцесса.

– Не угодно ли будет вам удалиться отсюда, – сказал сурово герцог принцу и с такими же словами, но только произнесенными мягким и вежливым тоном, он обратился к Анне Леопольдовне.

Принц Антон не заставил герцога повторить приказание и, почтительно поклонившись ему, начал осторожной поступью, на цыпочках, выбираться из спальни. Но Анна Леопольдовна как будто не слышала вовсе распоряжения герцога: она оставалась неподвижно на том месте, где стояла.

– Я покорнейше прошу ваше высочество, – сказал ей с некоторой настойчивостью герцог, – отлучиться отсюда на короткое время: ее величеству угодно наедине, в присутствии моем, переговорить с графом...

Анна не трогалась с места и только презрительным взглядом окинула герцога.

Императрица заметила происходившее между герцогом и своей племянницей и в сердцах начала говорить что-то, но не совсем внятно. Остерман догадался, в чем дело. Делая вид, что силится привстать с кресел, он обратился лицом к Анне Леопольдовне и почтительно сказал ей:

– Ваше высочество, ее императорскому величеству угодно на некоторое время остаться только с его светлостью и со мной.

Принцесса порывисто бросилась к постели и, схватив руку тетки, крепко несколько раз поцеловала ее, и затем, не говоря ни слова, спокойно, тихими шагами вышла из комнаты.

– Ого! – подумал герцог, смотря вслед удалявшейся Анне Леопольдовне, – с ней, чего доброго, придется повозиться.

Герцог, выпроводив всех, заглянул из предосторожности за обе двери и, уверившись, что теперь никто не может подслушивать, стал около кресла Остермана.

– Осмелюсь доложить вашему императорскому величеству, – начал нетвердым и прерывающимся голосом Остерман, – осмеливаюсь доложить по рабской моей преданности, что хотя Всевышний и не отнимает у верноподданных надежды на скорое выздоровление матери русского отечества, но что тем не менее положение дел теперь таково, что вашему величеству предстоит необходимость явить еще раз знак материнского вашего попечения о благе под скипетром вашим управляемых народов.

– Ты, видно, хочешь сказать, Андрей Иванович, что настает надобность в моем завещании о наследстве престола и о регентстве?

– Никто не сомневается в выздоровлении вашего величества, – подхватил герцог, – но обстоятельства теперь таковы, что если вы, всемилостивейшая государыня, не объявите вашей воли, то впоследствии нас, лиц самых приближенных к вам, русские станут укорять в злых умыслах и не упустят обвинять в том, что мы, пользуясь случаем, хотели установить безначалие, с тем чтобы захватить власть в свои руки.

– Его светлость имеет основание высказывать перед вашим величеством подобные опасения, – заметил Остерман, вынимая бумагу из кармана.

– Какая у тебя это бумага? – спросила государыня Остермана.

– Завещание вашего императорского величества.

– А кто писал его?

Остерман приподнялся и, поклонившись, отвечал: «Ваш нижайший раб».

Сказав это, Остерман начал читать завещание и когда дошел до той статьи, по которой герцог Курляндский назначался регентом на шестнадцать лет, т. е. до совершеннолетия будущего императора, то Анна Иоановна спросила герцога: «Надобно ли тебе это?».

Герцог упал на колени у постели, целуя ноги императрицы, высказал ей ужасное положение, в какое он будет поставлен, если Всевышний, сверх ожидания, к прискорбию верноподданных, воззовет к себе его благодетельницу прежде его самого. Он напоминал ей о своей безграничной преданности, о многих годах, проведенных с нею безотлучно, о сильных и неумолимых врагах, которых он нажил себе, слепо повинаясь ее воле, об участи своего семейства, которое остается без всякой помощи, на произвол судьбы.

Остерман поддерживал слова герцога, пуская в ход свое красноречие.

– Подай мне перо, Эрнест, – сказала наконец императрица Бирону.

Герцог живо исполнил это приказание и стал поддерживать императрицу, которая, приподнявшись на постели, подписала дрожащей рукой бумагу, положенную перед нею Остерманом на маленьком столе, стоявшем возле нее.

– Мне жаль тебя, герцог! – сказала императрица, бросив перо и отстраняя от себя рукою подписанную ею бумагу.

Слова эти сделались историческими, и после превратностей, постигших Бирона, прозорливые историки стали видеть в них пророчество о печальной судьбе герцога. Но кто знает, не были ли эти слова простым выражением скорби, навеянной на Анну Иоановну при мысли о вечной разлуке с таким близким человеком, каким был для нее ее любимец?

– Ты кончил все, Андрей Иванович? – спросила государыня Остермана.

– Кончил, ваше величество, но я надеюсь вскоре снова явиться к вам для получения высочайших ваших повелений по некоторым делам, – сказал граф.

Анна Иоановна отрицательно покачала головою.

Герцог вышел в другую комнату, и через несколько минут вошли в спальню гренадеры, чтобы вынести на креслах Остермана.

– Прощай, Андрей Иванович! – сказала ласково государыня, протягивая руку Остерману, который с трудом нагнулся в креслах, чтобы поцеловать ее.

Когда Остерман был вынесен в приемную, то находившиеся там адмирал граф Головин и обер-штальмейстер князь Куракин сказали ему: «Мы желали бы знать, кто наследует императрице».

– Молодой принц Иван Антонович, – ответил кабинет-министр, не сказав ни слова ни о завещании, ни о назначении регентом герцога Курляндского.

Ответ Остермана распространился тотчас между вельможами, бывшими в это время во дворце, а потом перешел в городскую молву.

– Значит, царством будет править принцесса Анна Леопольдовна, – говорили в городе.

– Да кому же другому, как не ей, – замечали на это, – ведь она ближе всех императрице, да притом и родная внучка царя Ивана Алексеевича, ведь не быть же приставниками при государе герцогу Курляндскому или принцу Антону, – герцог ему чужой человек, а принц хоть и родитель, да никуда не годится – труслив как заяц.

Затем начались толки о принцессе, и большинство голосов склонялось в пользу ее, как женщины доброй и рассудительной.

Подпись завещания, трогательные речи герцога жестоко потрясли Анну Иоановну. Силы ее стали быстро упадать, и она, сознавая приближение смерти, выразила желание проститься с близкими к ней людьми.

Осторожно, едва переводя дыхание, начали теперь входить в опочивальню царицы из приемной бывшие там сановники. Становясь на одно колено у постели умирающей государыни, они целовали ее руку. Между прочими подошел к ней и старик Миних.

– Прощай, фельдмаршал, – сказала ему императрица, и это прощание было последними ее словами.

Императрица впала в тяжелое забытие. Наступила борьба угасавшей жизни с одолевающей ее смертью. Государыня с трудом дышала и, открывая по временам глаза, казалось, хотела

узнать окружающих ее. Теперь близ нее оставались герцог, герцогиня, Анна Леопольдовна с мужем, духовник и доктор Фишер. Дыхание умирающей постепенно делалось реже, отрывистее и тише; она с трудом поднимала отяжелевшие веки над помутившимися ее глазами и металась головой на подушке. Наступила минута спокойствия, государыня лежала неподвижно. Затем послышался глубокий вздох, за ним сперва глухое и потом все более и более усиливающееся хрипение, и умирающая вытянулась во весь рост, закинув на подушке голову.

В безмолвии, среди мертвой тишины, смотрели все присутствовавшие на отходившую в вечность грозную самодержицу.

Первый подошел к ней Фишер; он осторожно рукой коснулся пульса императрицы, потом положил руку на ее сердце, внимательно прислушиваясь к ее дыханию.

– Все кончено, – сказал он, обратившись к герцогу.

Герцогиня взвизгнула и опустила без чувств в кресла, Бирон упал на колени и, прикинув головой к постели, зарыдал как ребенок. Принц Антон быстро заморгал глазами и, совершенно растерянный, не знал, что делать. Анна Леопольдовна сделалась еще бледнее, судорожное движение пробежало по ее губам, и она вперила свои темные, задумчивые глаза в лицо скончавшейся государыни, на котором проявлялось теперь торжественное спокойствие, набрасываемое обыкновенно смертью в первые минуты своей победы над отлетевшей жизнью...

Неподвижно оставался герцог у изголовья почившей государыни. Все прошлое быстро промелькнуло в его памяти. Среди воспоминаний о своем необыкновенном величии и могуществе ему грезились теперь и пышность двора, и перлы герцогской, короны, и даже представлялась в какой-то туманной дали шапка Мономаха с протянутой к ней рукой. В ушах его гудел теперь звон кремлевских колоколов и слышались приветственные клики народа, раздавшиеся при появлении на красном крыльце только что венчанной царицы. Но наряду с этими величавыми воспоминаниями теснились и другие, противоположные воспоминания: ему представлялись его родная, убогая немецко-латышская мыза с соломенной кровлей; ему припоминались дни кипучей его молодости, проводимые большей частью впроголодь; перед ним промелькнула даже и неприглядная кенигсбергская кутузка, в которой он – будущий владетельный герцог – отсидел некогда за долги, буйство и ночное шатанье. Теперь в голове его призраки недавнего блеска и славы мешались с призраками давнишнего убожества и ничтожества, и пораженный горем, герцог мгновенно оценил все, чем он был обязан единственно милостям императрицы. Последней из этих милостей было назначение его регентом империи, следовательно, власть не ускользала из его рук. Герцог ободрился при этой мысли и твердыми шагами вошел в приемную, где русская знать приветствовала его раболепным поклоном...

Х

При распространившейся вести о кончине императрицы весь Петербург ранним утром пришел в необыкновенное движение. Казалось, все жители его высыпали на улицы. Густые толпы народа валили к Летнему дворцу, на углах и перекрестках собирались отдельные кучки, принимавшиеся было судить и рядить о том, что теперь будет, но полицейские драгуны усердно разгоняли их. На площадях и в разных местах города расставляли пешие караулы и конные пикеты от гвардейских и напольных полков. На заставах был послан приказ не выпускать никого из города впредь до особого разрешения. Полиция торопилась запереть кабаки и бани, чтобы предупредить народные сборища. На площади перед Зимним дворцом выстраивались полки. На улицах по мостовой и по голой земле, охваченной первыми морозами, глухо стучали экипажи сановников, царедворцев и высших военных чинов, спешивших в Зимний дворец для принесения присяги новому государю, безмятежно спавшему в колыбели.

Когда на дворцовой площади выстроились войска, то им было прочитано распоряжение императрицы о наследии престола и о назначении герцога Курляндского регентом империи.

– Вот тебе и на, – слышалось в войске, – а родительница-то государя при чем же теперь будет?

– А что же станет делать принц Брауншвейгский? – спрашивал один гвардейский офицер своего товарища.

– Да что принц? Тряпка он, братец ты мой, больше ничего. Разве ты не видел, что он, как подполковник семеновского полка, зяб на площади, наравне с нами, когда читали указ о регентстве. Тут ли его место? Сына его возглашают государем, а он между солдатства находится. Принцессу-то жаль, братец ты мой, что поделает она с такой разиней?..

– Значит, опять пойдут прежние порядки? Плохо...

– Разумеется, плохо.

Подобные речи, в порицание герцога и принца и в сожаление к Анне Леопольдовне, слышались и в войске, и в народе, но делать было нечего. Власть регента утвердилась окончательно, и он в новом звании принес перед фельдмаршалом Минихом торжественную присягу.

Твердя о своей безграничной привязанности к покойной государыне, герцог хотел оставаться при ее гробе до самого погребения и потому не переезжал в Зимний дворец из Летнего, где скончалась императрица и где должно было оставаться ее тело до перенесения его в Петропавловский собор. Между тем Анна Леопольдовна изъявила намерение переехать на житье в Зимний дворец и взять туда с собою своего сына. По поводу этого произошла бурная сцена.

– Я сегодня, герцог, переезжаю в Зимний дворец, – сказала регенту принцесса в присутствии своего мужа и его адъютанта Грамотина.

– Это зависит совершенно от воли вашего высочества, – отвечал с почтительным равнодушием герцог.

– Я беру туда с собою своего сына, – добавила принцесса.

– Этого никак нельзя допустить, – отрывисто промолвил регент.

– Как нельзя? – спросила изумленная Анна Леопольдовна, окинув его высокомерным взглядом.

– Никак нельзя, – повторил настойчиво герцог. – Вам известно, что по воле покойной государыни император поручен непосредственным моим попечениям, и потому он постоянно должен быть там, где нахожусь я.

Принц кивнул головой в знак согласия и, заикаясь, начал бормотать что-то.

– Вы здесь, ваша светлость, ровно ничего не значите, – сказала запальчиво Анна Леопольдовна своему мужу, отдаляя его рукой от герцога. – Я без вас сумею свести мои счета с регентом и объявляю ему, что беру к себе своего сына.

Регент сделал было несколько шагов по направлению к дверям той комнаты, где был помещен император, но принцесса кинулась к этим дверям и загородила ему дорогу.

– Вы не войдете к его величеству... Я мать вашего государя, и никто в мире не отнимет у меня моего сына! – вскрикнула принцесса и опрометью побежала в его покои. Герцог остановился и гневно взглянул на принца, который опять заикнулся сказать что-то.

– Я просил бы вашу светлость, – сказал раздраженный герцог, искавший, на ком бы сейчас же выместить свою досаду, – не вмешиваться в мои дела с принцессой. Вы слышали, что ее высочество сказала вам в глаза, и вы должны знать, что посредничество бывает хорошо только со стороны умных людей, а не... – Герцог как будто опомнился и не договорил слова, бывшего уже у него на языке.

Во время всей этой сцены Грамотин не знал, что ему делать. В запальчивости своей герцог не обращал на него внимания, а принц как будто не замечал его, и Грамотин, не получая ни от того, ни от другого приказа удалиться, считал своей обязанностью оставаться безотлучно при своем начальнике.

С радостным чувством смотрел Грамотин на бойкость и неуступчивость, так неожиданно проявившиеся в принцессе. От волнения он чуть не задышался.

«Недаром же полюбила меня она, – подумал он, – право, за такую женщину и головы сложить не жаль».

Герцог случайно обернулся назад и, видя стоявшего навывтяжку адъютанта принца, сделал ему знак рукой, чтоб он вышел.

– Вы, любезный мой принц, – начал по уходе Грамотина несколько ласковым голосом герцог, – должно быть, вовсе не понимаете настоящего вашего положения. Неужели же вы не замечаете, что жена ваша ненавидит вас... Впрочем, – добавил герцог со свойственной ему грубой откровенностью, – чтобы лучше уяснить вам отношения к вашей супруге, я должен сказать вам, что принцесса прямо говорила покойной государыне, что она лучше пойдет на плаху, чем выйдет за вас замуж. Понимаете теперь?

В это время под окном дворца послышался стук экипажа, и герцог увидел карету Анны Леопольдовны, подъезжающую к парадному подъезду, на который выходила принцесса в сопровождении мамки, несшей на руках укутанного в теплое одеяло императора. Герцог быстро накинул обыкновенно носимый им темно-синий бархатный плащ, подбитый горностаем, и выбежал на подъезд. В это время принцесса, посадив сына в карету, становилась сама на подножку. Регент понял, что теперь пререкания с Анной Леопольдовной будут и неуместны, и бесполезны, и потому, сняв свою с алмазным аграфом шляпу, почтительно помог принцессе сесть в карету, отдав ей на прощание низкий поклон.

В тот же день вечером регент свиделся с Остерманом и передал ему затруднения, какие встречает он в своих отношениях к Анне Леопольдовне.

– Я знаю очень хорошо характер принцессы, – начал спокойно Остерман, выслушав жалобы регента, – подобные вспышки будут у нее повторяться часто, и если бы у нее нашелся когда-нибудь твердый и умный руководитель, не такой, конечно, как ее супруг, то она была бы в состоянии отважиться на многое. Надобно, как я думаю, подчинить принцессу влиянию такого человека, который был бы нам безусловно предан...

– Да где найдешь его?... – спросил регент.

– А граф Линар. Мы вызовем его сюда, доставим почетное положение, дадим ему богатство, он сблизится с принцессой, и затем, как обязанный всем вашей светлости, Линар будет на нашей стороне. При таком условии представится для нас еще и другая выгода: Линар – немец, а потому немцы и найдут в нем поддержку.

– Но, быть может, Анна забыла совсем Линара? Скоро три года, как он уехал из Петербурга.

– Поверьте мне, ваша светлость, что она не успела еще забыть его. У таких женщин, как она, первая любовь долго, даже очень долго не изглаживается из сердца. Повторяю, что я знаю очень хорошо принцессу, я слишком много слышал о ней от г-жи Адеркас, и убежден, что она очень охотно променяла бы на любовь не только власть правительницы, но и корону.

В то время, когда герцог и Остерман обдумывали способы к исполнению этого коварного плана, в Летнем дворце шли деятельные приготовления к парадной выставке набальзамированного тела императрицы. С той стороны Летнего дворца, которая была обращена к саду, виднелось траурное убранство: не только главный средний вход, но и два боковые входа были завешаны снаружи завесами из черной байки с отделкой из черного флера. Над главным входом был повешен государственный герб, окруженный гербами тогдашних тридцати двух русских провинций.

Стены главной дворцовой залы были убраны так, что казалось, они были отделаны черным мрамором с желтыми жилками. У стен около окон стояли двойные столбы из серого мрамора на мраморных пьедесталах темно-желтого цвета. По сторонам окон и дверей шли горностаевые каймы, а сами двери и окна были завешаны черным сукном, которым были обиты и потолок, и пол залы. Карниз около всей залы был отделан золотой парчой и белой кисеей, а над карнизом возвышались вышитые по золотому полю черные двуглавые орлы, под самым же потолком были размещены гербы провинций, и каждый из этих гербов поддерживался двумя младенцами. Это должно было означать, что все провинции России лишились своей матери. «Для большого же изъявления печали, – говорилось в современном описании убранства залы, – означены были при окнах на черных завесах многочисленные серебряные слезы, которые должны были происходить от помянутых при гербах представленных плачущих младенцев».

При одной из стен залы был устроен катафалк, возвышавшийся на несколько ступеней, и на нем был поставлен одр. Ступени катафалка были обиты малиновым бархатом и украшены богатым золотым галуном, а одр был застлан драгоценным с черными орлами покровом из золотой парчи, широко раскинутым на все стороны. Кисти и шнуры покрова были сделаны из «волоченого» золота. Позади гроба стена была покрыта широкой императорской мантией из золотой парчи с вышитыми орлами, подбитой горностаем; золотые шнуры мантии держала с каждой стороны «крылатая фама», т. е. слава, обыкновенной человеческой величины, а среди мантии был помещен государственный герб.

На одре был поставлен золотой гроб с серебряными скобами и такими же ножками. В нем лежала покойная государыня в императорской короне; на груди ее блеснул драгоценный бриллиантовый убор, а шлейф ее серебряной глазетовой робы был выпущен из гроба на несколько аршин. Гроб был осенен золотым балдахинном, подбитым горностаевым мехом.

По четырем сторонам гроба «сидели в печальном виде и в долгой одежде четыре позолоченные статуи», представлявшие радость, благополучие, бодрость и спокойствие. Печальный их вид должен был означать, что «российская радость пресеклась; все благополучие прекратилось, вся бодрость упала, и самое спокойствие миновало». На верхней ступени катафалка стояло десять обитых малиновым бархатом табуретов с золотыми ножками, с золотыми глазетовыми подушками, на них лежали корона императорская и короны царств: Казанского, Астраханского и Сибирского, скипетр, держава и знаки орденов: андреевского, alexандровского и екатерининского, а также польского белого орла. От катафалка по обеим сторонам в длину залы были расставлены «добродетели в подобию белых мраморных статуй». Они изображали ревность к Богу, веру, храбрость и множество других добродетелей почившей государыни, в числе которых было и «великолепие». Статуи эти были украшены напыщенными девизами. На стенах залы висели медальоны, напоминавшие на письме и в живописи подвиги, славу и добродетели Анны Иоановны. Сверх всего этого в зале было здание, сделанное из мраморных серых и красных досок в виде пирамиды, на которой была изображена хвалебная надпись в

честь покойной государыни, и на эту надпись указывала вылитая из металла в обыкновенный рост статуя России.

С потолка залы спускалось шестнадцать больших серебряных и хрустальных паникадил; при окне и при каждой двери стояли огромные хрустальные канделябры, так что вообще в зале постоянно горела тысяча восковых свечей.

Среди этой пышно-льстивой и как будто языческой обстановки громко раздавались возглашаемые дьяконом слова евангельского обетования: «И изыдут сотворшии благая в воскресение живота, а сотворшии злая в воскресение суда»...

XI

Снежная октябрьская выюга свободно гуляла по широким улицам и тогдашним пустырям Петербурга, то наметая, то разметывая огромные сугробы снега, резво кружившегося в воздухе и клубами поднимавшегося с земли. Вечерело, и фонари, заведенные в Петербурге еще с 1723 года Петром Великим, стали тускло мерцать на огромных расстояниях, задуваемые сильным ветром. В эту пору, закутавшись в епанчу и нахлобучив на глаза шапку, пробирался с адмиралтейской стороны на Васильевский остров, в бывшие тогда еще там «светлицы» или казармы Преображенского полка, вахмистр конной гвардии Лукьян Камынин к своему приятелю поручику Ханыкову, который, по месту своей службы, жил в одной из светлиц этого полка.

Светлица была простой бревенчатой избой в пять маленьких окон по главному фасаду и с входной посреди их дверь, ведущей в обширные сени, по бокам которых шли комнаты, отводимые для жилья офицерам и нижним чинам. Быт тогдашних гвардейцев, за исключением высших чинов или офицеров, особенно богатых, не отличался ни изысканностью, ни удобством обстановки. Так, поручик Ханыков, человек не слишком достаточный, жил в довольно просторной комнате с маленькими окнами. Стены его жилья были деревянные, ни оштукатуренные, ни оклеенные обоями. В переднем углу, по православному обычаю, висело много икон с постоянно теплившейся перед ними лампадкой, на стенах наклеены были суздальские лубочные картинки, преимущественно благочестивого содержания, между ними висело небольшое зеркальце. К стене были прислонены тогдашний тяжелый мушкет и протазан – стальное копье на черном трехаршинном древке с серебряными кистями. На стене виднелись также развешанные в большом порядке служебные доспехи поручика: огромная шпага с перевязью из выбеленной лосиной кожи; черная кожаная шапка с кругловатой тульей, с желтой медной бляхой и с большим черным страусовым пером; суконный темно-зеленого цвета кафтан с маленьким отложным воротником, обшлагами и оторочкой из красного сукна и с желтыми медными пуговицами и красный суконный камзол. Наряд этот, вздетый на поручика, дополнялся красными суконными панталонами, белым галстуком и высокими сапогами с раструбами или, при большом параде, башмаками с огромными медными пряжками при белых чулках. Время теперь было смутное, не ровен был каждый час; офицера могло потребовать начальство во всякую минуту, и поэтому предусмотрительный поручик держал наготове весь свой убор, чтобы явиться на полковой двор тотчас же при первом ударе тревоги.

Меблировка у поручика была весьма не затейлива: в комнате стояло несколько простых, окрашенных красной краской кресел, обитых черной кожей, такое же жесткое канапе и постель, сооруженная из наследственных перин и подушек, устроенная на козлах из простого белого дерева. Не более как несколько дней тому назад на этом ложе поручик спал богатырским сном, возвращаясь с утомивших его экзерциций, обходов и караулов. Но теперь, говоря поэтически, сон не смыкал его вежд; всю ночь напролет беспокойно ворочался он с боку на бок, потому что раздражающие и тревожные мысли не давали ему покоя: он постоянно обдумывал опасное дело, за которое готов был сложить на плахе свою голову. Убранство комнаты дополняли огромный обитый железом сундук с разным скарбом и два стола. На одном из них была приготовлена неприхотливая закуска, преимущественно из деревенских запасов, присланных поручику его заботливыми родителями, а у другого стола, облокотившись на него, сидел в ожидании гостей хозяин, призадумавшись и посасывая кнастер из коротенькой голландской трубки. Большая комната слабо освещалась одной порядочно нагоревшей сальной свечой.

Сильный стук железным кольцом у входной с улицы двери вывел поручика из задумчивости, он встрепенулся, а слуга его опрометью бросился из соседней комнаты, чтобы отворить дверь. Вслед затем показался на пороге занесенный снегом Камынин. Вскоре после него, в таком же виде, пришли один за другим и другие гости Ханыкова: поручик Преображенского

полка Петр Аргамаков и два сержанта того же полка – Алфимов и Акинфеев. Прежде всего хозяин предложил гостям подкрепиться выпивкой и «ужиной», т. е. вечерней закуской, и после непродолжительного каляканья о тяготах военной службы, о притеснениях и несправедливостях, испытываемых русскими со стороны командиров-немцев, между собеседниками завязался разговор политического свойства.

– Для чего так министры сделали, что управление всероссийской империи, мимо его императорского величества родителей, поручили его высочеству герцогу Курляндскому? – заговорил хозяин дома. – Что мы сделали? – допустили государева отца и мать оставить; они – надеюсь – на нас плачутся. Отдали все государство какому человеку? – регенту. Что он за человек?.. Лучше бы до возрасту государева управлять государством отцу государеву или матери.

– Вестимо, что это справедливее было бы, – заметил сержант Алфимов.

– Какие вы унтер-офицеры, что солдатам об этом не говорите, – укорительным тоном продолжал хозяин, обращаясь к Алфимову и Акинфееву, – ведь вы знать должны, что у нас в полку надежных офицеров нет, так что и посоветоваться не с кем, да и надеяться-то не на кого; разве только вы, унтер-офицеры, толковать о том солдатам станете.

– Отчего бы и не так, – перебил Акинфеев.

– Дельно, – поддакнул поручик Аргамаков.

– Я уже об этом и здесь, и при строении казарм, и в других местах многим солдатам говорил, – продолжал Ханыков, – и солдаты все на это позываются и говорят, что напрасно мимо государева отца и матери государство регенту отдали, и бранят нас, офицеров, и вас, унтер-офицеров, за то, что ничего не начинаем. Говорят, что им самим, солдатам, без офицерства и унтер-офицерства ничего зачать не можно, и корят нас за то, что когда был для присяги перед дворцом строй, мы напрасно им того не толковали...

– Да, следовало бы нам в ту пору так сделать, а то ныне с регентом трудновато уже справиться, – заметил Аргамаков, – крепко он утвердился, большую власть он забрал. Вот уже и в церквах молитву за него возносить стали; просят, чтобы Господь пособил ему во всем и покорил бы под ноги его всякого врага и супостата. Сердце у меня, братцы, облилось кровью, как в прошлое воскресенье услышал я за обедней этот возглас, а дьякон-то точно с умыслом орет во всю глотку... Обрадовался, что ли?

– Да, тогда, как строй был полегче, можно было бы сладить с регентом, я бы, – говорил Ханыков, – сказал бы только гренадерам, и никто бы из них спорить тогда не стал: все бы они за мной как один человек пошли, а побоявшись их, и офицеры стали бы солдатскую сторону держать. Прозевали мы, что делать! А сказать должно, что только скрепя свое сердце, я гренадерам ничего не говорил и потому именно, что я намерения государыни-принцессы не знаю, угодно ли ей то будет...

– Разумно говоришь, – отозвался Аргамаков, – да кому же нам не порадеть, как не ей, нашей голубушке. Все мы за нее костями ляжем, прикажи она только...

– Ну, брат, пожалуй, что и не все так поступят, как ты думаешь, – перебил сердито Ханыков, – в полку у нас многие крепко сторону цесаревны Елизаветы Петровны держат; говорят: ей-де следует, по великому ее родителю, царская корона, а не принцессе...

– Да мы осилим их, если на то дело пойдет! – бойко крикнул Акинфеев, – хотя и обереги нас Господь Бог от междоусобной брани, – добавил он, вздохнув, и затем, обратившись к образам, набожно перекрестился.

– Да на что же цесаревне-то корона? Отречется она от нее: волю больно любит, – заметил Алфимов.

– Это правда, – подхватил Ханыков, – государыня-принцесса куда как степеннее цесаревны будет. Вот, хотя бы и с мужем постоянная неладица у нее идет, а все-таки никто о ней дурного слова не скажет. Да послушали бы вы, господа, что говорит о ней Грамотин: умом и

смелостью ее не нахвалится. Рассказывал, как она при нем с регентом схватилась. Только и твердит всем и каждому: вот бы настоящая-де царица была...

– Уж не норовит ли он при ней в обер-камергеры, да в какие-нибудь такие-сякие герцоги ингерманландские, – с колкостью вмешался безмолствовавший до того времени Камынин.

– Ты, брат, Лукьян Иваныч, больно острословен, полно тебе трунить и издеваться над Грамотиным, – внушительно и сурово заметил Ханыков. – Что он? Дорогу тебе нешто перебивает? Грамотина я знаю: он человек хороший, а об ее высочестве государыне принцессе при мне никто и заикаться не смей... Стыдно тебе, братец...

– Стыдно, так стыдно, – равнодушно проговорил Камынин, – а вот тебя так любо послушать; смотри только, что скажут на твои смелые речи другие, а о государыне-принцессе обмолвился я ненароком, так с языка сболтнулось, потому что и сам, как православный, постоять готов за нее, чтобы только сжить с рук проклятых немцев.

– Ты спросил, Лукьян Иваныч, что скажут другие на смелые речи Ханыкова, да вот что скажут, – крикнул Аргамаков, – скажут, до чего мы дожили? Какова теперь наша жизнь? Что случилось с Россией! Лучше бы я сам себя заколол за то, что мы, гвардейцы, допустили сделать, и хоть бы из меня жилы принялись тянуть, то и тогда я говорить это не перестану...

– Нам бы только как-нибудь проведать поточнее, что государыне-принцессе угодно будет, а постоять бы за нее мы сумели, – с жаром начал Ханыков, – я здесь, а Аргамаков на Санкт-Петербургском острове учинили бы тревогу барабанным боем. Я привел бы свою гренадерскую роту, потому что вся она пошла бы за мной, а к нам пристали бы и другие, и тогда мы регента и согласников его, Остермана, Бестужева и князя Никиту Трубецкого, живой бы рукой убрали, а государыне-принцессе правительственную власть, а не то, статья может, и корону бы доставили...

– Я, братец ты мой, нисколько не прочь от такого хорошего дела. Только бы Господь помог нам в этом, – проговорил решительным голосом Аргамаков.

– Да и помимо уже ее высочества нам теперь и за самих себя постоять приходится. Есть у нас в полку один солдатик, который к регентовым служителям частенько ходит, – начал снова Ханыков, – так вот этот-то самый солдатик и рассказывал, что регентово намерение есть ко всем разные милости оказать, а нам, преображенцам, – насмешливо добавил поручик, – явить ту высокую милость, чтобы в наш полк великорослых людей из курляндцев побольше набрать. Оттого-де, говорит регент, полку красота будет. Вишь какую новую милость придумал! Как будто меж нас, русских, рослых молодцов и даже богатырей не отыщется? Да не в том, впрочем, и вся-то штука, а в том, мои приятели, что хотят нас, православных, совсем из первейшего что ни на есть российского полка немцами повытеснить!..

– Говорят, однако же, и о разных других заправских милостях, – начал тихим голосом Камынин, – хотят всему солдатству особенную милость оказать и жалованье ему за треть выдать; доимку вперед не взыскивать, да и возратить ее тому, с кого прежде взята была, а из гвардейских полков отпустить дворян в годовой отпуск, вычтенными же из жалованья их деньгами казармы отстраивать и тем самым солдатство и всех к милости будто приводят. А на самом-то деле все это выходит не так: только провести хотят нас министры. Вот хоть бы мне Бестужев и дядюшка, а, прости Господи, какой он к черту министр! Не пожалел бы я и его, если бы с ним до расправы дошло. Хорошо было бы, если бы Аргамаков по полкам подписку сделал о том, чтобы просить ее высочество государыню-принцессу правление принять. Чаять надо, что все обошлось бы тогда спокойно и государственная перемена надлежащая была бы у нас.

– Думали, братец, и об этом, – заговорил снова Ханыков, – ходили с тем к графу Головкину господа семеновские офицеры, да что из всего этого вышло? Водил их к нему ревизион-коллегии подполковник Любим Пустошкин, чтобы заявить, что все офицерство против регента и на сторону государыни-принцессы склоняется, и говорили графу Головкину, что хотят, мол, подать о том челобитную от российского шляхетства. Головкин и сказал им, что

он, как им это известно, и сам вольные речи о регенте говорил, за что он теперь от всех дел отрешен и едет в чужие края, так что делом этим заняться ему некогда, а посоветовал им, чтобы они со своим намерением к кабинет-министру князю Алексею Михайловичу Черкасскому отправились. Тот похвалил господ семеновских офицеров и под тем предлогом, что ему сейчас важные дела спешно отправлять приходится, просил, дабы они на другой день к нему пожаловали, а сам шмыгнул к регенту, да все, как было, и пересказал ему.

Говоря это, Ханыков случайно взглянул на Камынина, который заметно смутился и принялся откашливаться. Гости поручика потолковали еще добрый час о том и о другом, и все их речи сводились к тому, что надобно поскорее приняться за дело в пользу Анны Леопольдовны. Потом повыпили, позакусили еще и стали собираться по домам.

– Говорили мы обо всем только промеж добрых приятелей, – сказал, прощаясь, Камынин своим товарищам, – дело наше смертельное, и тому, кто из нас станет доносить один на другого, такому доносчику – первый кнут!

– Ладно, ладно, – заговорили все, – мы, братцы, люди честные и друг друга даже и в пытке не выдадим.

Выйдя от Ханыкова и разлучившись на дороге со своими товарищами, Камынин направился быстрыми шагами к дому своего дяди Бестужева-Рюмина. Камынин разбудил его и передал ему все, что слышал у Ханыкова, а Бестужев, горячий приверженец регента, несмотря на позднюю пору, немедленно отправился к герцогу с известием, что двое офицеров Преображенского полка имеют против его высочества злые умыслы.

Через два дня после этого вахмистр Камынин был произведен за отличие в корнеты...

XII

В местности, прилегающей ныне к Михайловскому театру, находились огороженные высоким, толстым и заостренным тыном строения. Вечно запертые, окованные железом ворота и стоявшие на карауле как при них, так и в разных местах около тына солдаты показывали, что тут было недоброе место, и, действительно, тогдашние петербургские жители не без ужаса проходили мимо него, так как за высоким тыном помещалась тайная канцелярия. Одно только упоминание о ней бросало в жар и в холод каждого, потому что никто не мог быть уверен, чтобы рано или поздно не потянули его туда на жестокую расправу.

Во дворе, за тыном, стояло несколько отдельных небольших изб или светлиц, а посреди двора было расположено на каменном подвальном фундаменте длинное, невысокое бревенчатое строение, похожее на сарай.

В ворота этого неприглядного здания через два дня после сходки, происходившей у Ханькова, въехали под вечер три повозки. Из них в каждой сидели отдельно наши знакомцы: Ханьков, Аргамаков и Алфимов, скованные по рукам и по ногам. Сильный караул от одного из наполевых или армейских полков окружал наглухо закрытые повозки.

Привезенные арестанты при выходе из повозок вошли с частью сопровождавшего их конвоя в небольшую сборную комнату, тускло освещенную ночником. Здесь их встретил секретарь тайной канцелярии и немедленно распорядился о размещении обоих поручиков и сержанта по особым помещениям, находившимся в подвале, приставив к дверям их надежный караул.

Тогдашнее наше страшное и таинственное судилище не представляло той грозно-изысканной обстановки, какой обыкновенно отличались инквизиционные тайники в Западной Европе, поражавшие попавших туда своей мрачною торжественностью. В тайной канцелярии, несмотря на все происходившие в ней ужасы, заметна была родная наша простота и своего рода благодушие без всякой вычурности, и вообще это учреждение по внешности смахивало и на обыкновенный острог и на простую полицейскую управу. В сборной, из которой увели арестантов, остался теперь один сторож, старый служивый, одетый в солдатскую сермягу без всяких знаков своей принадлежности к такому важному учреждению, каковым была тайная канцелярия. Пользуясь одиночеством, он преспокойно разлегся на деревянной скамье, но всхрипнуть ему не удалось, потому что едва он улегся, как начали стучать в дверь. Сторож, не торопясь, отворил ее, и конвой, состоявший из трех мушкетеров, ввел в сборную какую-то молоденькую бабенку. Она в изнеможении села на скамейку, а двое из ее караульных, не выпуская из рук заряженных ружей, поместились по бокам ее, а третий их товарищ стал на часы у входной двери.

– Сдать ее пока некому, Иван Кирилыч сейчас был, да ушел; скоро придет, – позевывая, сказал служивый и затем ленивым шагом поплелся поправлять ночник.

– Вишь ведь молодка какая, а успела уж попасть к нам, – проговорил он с добродушной шутливостью, приглядываясь к арестантке.

– Прозябла она больно, как была в одном сарафанишке, так, видно, ее и схватили, и пугая-то накинуть не дали, – сказал один из сидящих около нее мушкетеров.

– Не велика беда, что прозябла, – заметил старый служивый, – у нас лихо отогреют... Ведь вот поди, чай, дурища, сболтнула что-нибудь, – продолжал он с видимым участием, обращаясь к бабенке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.